

ЭХО 1 ЕСНО

ПАРИЖ

1980

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Обложка О. Яковлева

Copyright © 1980 by review "Echo"

Произведения, распространяемые самиздатом, печатаются
без ведома их авторов.

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris

Алексей ЛОСЕВ

ВАЛЕРИК

*Иль бабку с широтой плеч
У татарина отсець.*

А. С. Пушкин

Вот ручка, не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там - даешь трудодней?
Пока нас держали в Кабуле,
считай до конца января,
ребята на город тянули,
а я так считаю, что зря.
Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти...
ну, как их... минет, не минет...
трясутся на них "муэдзины"
не хуже твоих мандавох...
Зато шашлыки, магазины -
ну, нет, городишко не плох.
Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделённым пойдем,
возьмем у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом;
и так они тянутся, тезка,
кури хоть полпачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.
И надо же как не поперло -
с какой-то берданки, с говна,
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул - и хана.
Машина крутнулась направо,
я влево подался, в кивет,
а тут косорылых орава,
втащили в кусты - и привет.
Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка. Отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я сильно сначала блажил.
Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделённый кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.

К сорокалетию Иосифа Бродского
(24 мая 1980 года)

*На снимке: Иосиф Бродский (справа)
и Алексей Лосев в Нью-Йорке.*



MEHPHIE JEM EANNINIA

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЕДИНИЦА *

I

Своей безуспешностью попытки припомнить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. И от того и от другого чувствуешь себя ребенком, ухватывающим баскетбольный мяч: ладошка все соскальзывает.

Я помню сравнительно немного из собственной жизни, а что помню - то не слишком существенно. Мысли, которые, как я сейчас припоминаю, увлекали меня, обязаны своей значительностью времени, когда они возникли. Если это неверно относительно некоторых из них, то, вне сомнения, кем-то они уже выражены куда лучше. Биография писателя в том, как он обрабатывал родной язык. Я помню, например, что, когда мне было лет десять-одиннадцать, меня осенило, что изречение Маркса "бытие определяет сознание" верно лишь до тех пор, пока сознание не овладевает искусством отчуждения; следовательно, сознание само по себе, и оно может определять бытие, а может и игнорировать его. Для такого возраста, что и говорить, открытие, но оно вряд ли достойно запечатления и, уж безусловно, кем-то оно изложено получше. Да и имеет ли это значение, кто автор первых трещин в той клинописи, чей образец "бытие определяет сознание"?

Так что пишу я это все не для того, чтобы предотвратить искажение истории (такой истории нет, а если и есть, то столь незначительная, что ее и исказить не станут), но, в основном, по обычной причине, почему писатель пишет, - чтобы дать толчок языку или чтобы оттолкнуться от языка. От иностранного на сей раз. То немного, что я помню, еще сжимается, будучи воспоминаемо по-английски.

Для начала лучше доверюсь своей метрике, которая утверждает, что я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, как ни омерзительно мне, что так наименовали город, который в народе издавна носил прозвище Питер - от Петербурга. Есть старое двустишие: "Питер -

бока повытер". В национальном сознании город безусловно Ленинград, а по возрастающей вульгарности своего содержимого он становится Ленинградом все больше и больше. Кроме того, как слово, Ленинград на русское ухо уже звучит так же нейтрально, как слова "стройка" или "колбаса". Но я, все же, называл бы его Питер, потому что я помню город в то время, когда он еще не выглядел как "Ленинград" - сразу после войны. Серые, бледно-зеленые фасады, выщербленные осколками; бесконечные пустые улицы с немногочисленными прохожими и почти без транспорта; облик почти изможденный, с чертами, в результате, более определенными и, если угодно, более благородными. Сухое, суровое лицо с отвлеченным отблеском его реки, отраженной в глазах его пустых окон. Того, кто выжил, нельзя называть в честь Ленина.

Эти великолепные в оспинах фасады, за которыми - среди старых роялей, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, остатков мебели (менее всего стульев), поглощенной буржуйками во время блокады, - начинала слабо теплиться жизнь. И я помню, как я шел в школу вдоль этих фасадов, совершенно погруженный в фантазии по поводу того, что же происходит в этих комнатах, с их прибоем на старых обоях. Должен сказать, что по этим фасадам и портикам - классическим, современным, эклектическим, с их колоннами, пилястрами, гипсовыми головами мифических людей и животных - по их орнаментам и кариатидам, поддерживающим балконы, по торсам в нишах их подъездов, я научился мировой истории больше, чем изо всех дальнейших книг. Греция, Рим, Египет - все они были налицо, покарябанные снарядами во время артобстрелов. А у серой, отблескивающей реки, текущей в Балтику, со случайным буксиром посреди, старающимся против течения, я учился стоицизму и бесконечности лучше, чем у Зенона и по математике.

Все это имеет мало отношения к Ленину, которого, полагаю, я начал презирать уже в первом классе - не столько из-за его политической теории и практики, о которых я знал очень мало, сколько из-за его вездесущего образа, который на чем только не мозолил глаза - на страницах учебников, на классной стене, на почтовых марках, на деньгах, - представляя человека разных возрастов в разные поры жизни. Малютка Ленин, херувим в русых кудряшках. Потом Ленин за двадцать, за тридцать, лысый и натянутый, с тем бессмысленным на лице выражением, которое можно принять за все что угодно, предпочтительно за целеустремленность. Это лицо так или иначе преследует каждого русского и предполагает своего рода образец человеческого облика, вследствие откровенного отсутствия в нем характера. (Вероятно, именно из-за отсутствия характерности это лицо оставляет простор для предположений.) Потом был стареющий Ленин, еще лысее, с бородкой клинышком, в темном костюме-тройке, иногда улыбающийся, но чаще всего обращающийся к "массам" с башни броневика или с трибуны какого-нибудь партийного съезда, с вытянутой в пространство рукой.

Были и варианты: Ленин в рабочей кепке, с гвоздикой на лацкане; в жилете, читающий или пишущий за столом; на пеньке у озера, строчащий апрельские тезисы или другой вздор на вольном воздухе. Наконец, Ленин в полувоенном френче, на скамейке, рядом со

Сталиным, единственным, кто превзошел его вездесущностью своего печатного изображения. Но Сталин тогда был жив, а Ленин мертв, и уже хотя бы по этой причине он был "хорошим", потому что принадлежал прошлому, то есть за него были и История и Природа. Тогда как за Сталина только Природа. Или наоборот.

Я думаю, что научиться игнорировать эти картинки и было моим первым уроком в давании дёру, моей первой попыткой отчуждения. Дальше больше; собственно говоря, вся моя дальнейшая жизнь может рассматриваться как избегание наиболее назойливых ее аспектов. Должен сказать, я довольно далеко зашел в этом направлении: может быть, слишком далеко. Все, что намекало на вторичность, оказывалось скомпрометированным и подлежало устранению. Включая фразы, деревья, определенный тип людей, иногда даже физическую боль; это отразилось на многих моих связях. В некотором роде я признателен Ленину. Все, что наличествовало в избытке, я немедленно воспринимал как разновидность пропаганды. Это отношение, я полагаю, ответственно за чудовищное ускорение сквозь гущу событий (с соответствующей поверхностью). Я никогда не верил, что все источники личности кроются в детстве. Примерно три поколения русских жили в коммунальных квартирах и битком набитых комнатах; мы притворялись, что спим, когда наши родители занимались любовью. Потом была война, голод, отсутствующие или искалеченные отцы, грубые матери, официальная ложь в школе и неофициальная дома. Суровые зимы, уродливая одежда, публичная демонстрация наших мокрых простынок в пионерлагере и наставления по этому поводу перед лицом товарищей. Потом красный флаг взвился на мачте. Ну и что? Вся эта милитаризация детства, весь давящий идиотизм, эротическое напряжение (в десять мы все вожделели к нашим учительницам) не слишком отразились ни на нашей этике и эстетике, ни на нашей способности любить и страдать. Я вспоминаю об этих вещах не потому, что думаю, что они являются ключами к подсознанию и уж конечно не из ностальгии по детству. Вспоминаю, потому что никогда раньше не вспоминал и хочу, чтобы что-то из этого осталось, по крайней мере, на бумаге. Еще потому, что оглядываться приносит больше удовлетворения, чем наоборот. Завтра менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не излучает такого удручающего однообразия, как будущее. Будущего в избытке, значит оно пропаганда. Как и трава.

Подлинная история сознания начинается первой ложью. Мне моя помнится. В школьной библиотеке я был должен заполнить вступительную анкету. Пятым пунктом, конечно, шло "национальность". Мне было семь лет, и я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарше, что не знаю. Не без сомнения она предложила мне сходить домой и спросить родителей. Больше я не возвращался в эту библиотеку, хотя записывался во многие другие с такими же анкетами. Не то что мне было стыдно быть евреем или страшно признаться в этом. В классный журнал наши имена, имена наших родителей, наши адреса и национальности были занесены со всеми подробностями, и порой учитель "забывал" журнал на столе во время перемены. Тогда, как стервятники, мы набрасывались на эти страницы; все в классе знали, что я еврей. Но семилетние мальчишки плохие антисемиты. К тому же, я был довольно сильный для своего

возраста, что в ту пору значило больше всего остального. Я стеснялся самого слова "еврей" - вне зависимости от его значений.

Судьба слова зависит от разнообразия контекстов, в которых оно встречается, от частоты его употребления. В русских печатных текстах слово "еврей" было так же редко, как, скажем, "средостение" или "соломя". Фактически у него даже отчасти статус похабного слова. В семь лет уже хорошо понимаешь необычность такого словечка и неприятно отождествлять себя с ним; как-то это оскорбляет твое чувство просодии. Помнится, я всегда легче воспринимал слово "жид" - оно было откровенно оскорбительным и, следовательно, бессмысленным, не отягощенным намеком. Односложное слово не может особенно преуспеть в русском языке. Но когда прибавляются суффиксы, окончания, приставки - тогда держись! Все это не к тому, что я страдал как еврей в нежном возрасте, а просто к тому, что моя первая ложь была связана с самопознанием.

Неплохо для начала. Что же до антисемитизма как такового, он меня не особенно беспокоил, поскольку исходил, главным образом, от учителей и казался неотделимым от их общей отрицательной роли в нашей жизни; с этим надо было жить - вроде как с плохими отметками. Будь я католиком, я бы всем им желал гореть в аду. Конечно, некоторые учителя были лучше других, но поскольку все они распоряжались нашей непосредственной жизнью, мы не проводили особенных различий между ними. Да и они не проводили особых различий между своими маленькими рабами, и даже самые откровенные антисемитские реплики отдавали безразличием, инерцией. Я как-то никогда не мог принять всерьез никакую словесную атаку, особенно со стороны лиц, принадлежащих к столь отдаленной возрастной группе. Полагаю, что был неплохо закален теми филиппиками, которые произносили в мой адрес родители. Кроме того, некоторые из учителей и сами были евреями, и я их боялся не меньше, чем чистокровных русских.

Это только один пример дрессировки личности, которая, вкупе с самим языком, позволяющим менять местами глаголы и существительные как кому пожелается, выработала в нас такое всеподавляющее чувство двусмысленности, что в результате десяти школьных лет силы воли у нас вырабатывалось столько же, сколько у водорослей. Четыре года в армии завершали процесс полного подчинения Государству. Послушание становилось второй, да и первой натурой.

Если вы что-то соображаете, вы, конечно, попытаетесь облапошить Систему, изобретая всевозможные обходы, втихомолку устраивая сделки с вашим начальством, громоздя ложь и поигрывая на струнах кумовства. И это потребует от вас полной самоотдачи. И, все же, вы всегда будете сознавать, что паутина, которую вы плетете, сплетена из лжи, и вне зависимости от степени успеха и чувства юмора вы будете презирать себя. В этом окончательное торжество Системы: присоединяетесь ли вы к ней, обыгрываете ли ее - все равно вы чувствуете себя виноватым. У нас все верят, что, как говорится, в каждом Зле есть зернышко добра, и, предположительно, наоборот.

Двусмысленность, я полагаю, есть главная характеристика моего народа. Нет в России палача, который не опасался бы в один прекрасный день превратиться в жертву, но не найдется и самой несчастливой жертвы, которая не призналась бы (хотя бы самой себе) в душевной способности стать палачом. И то и другое вполне подтверждается непосредственно нашей историей. И в этом есть некая мудрость. Можно даже подумать, что эта двусмысленность и есть мудрость: жизнь сама по себе не хороша и не плоха - она произвольна. Возможно, потому наша литература и нажимает так замечательно на дело добра, что дело это под большим вопросом. Будь этот нажим простым случаем орвелловского "двоесмыслия" (то есть пропаганды, извращающей факты) - прекрасно, но он воздействует на инстинкты. По-моему, эта двусмысленность и есть то "благовещение", которое Восток вот-вот распространит на весь остальной мир. И мир, похоже, созрел для того.

Оставим в покое судьбу мира. Единственным способом для мальчика бороться с неизбежной судьбой было сбиться с пути. Сделать это было нелегко из-за родителей, да и потому что сам страшился неизвестного. А более всего потому, что это делало тебя не таким, как большинство, а ты с материнским молоком впитал, что большинство право. Тут требуется некоторая степень безразличия, и оно у меня было. Как припоминается сейчас, я в 15 лет ушел из школы не столько в результате сознательного решения, сколько повинаясь внутреннему импульсу. Просто не мог выносить некоторые физиономии в классе - некоторых соучеников, но, в основном, учителей. И вот однажды зимним утром, без всякой видимой причины, я, посреди урока, встал и мелодраматически удалился, прошел сквозь школьные ворота, прекрасно сознавая, что не вернусь никогда. Из чувств, охвативших меня в этот момент, я помню только общее недовольство собой за то, что слишком юн и позволяю столь многим обстоятельствам распоряжаться мною. Еще было смутное, но счастливое ощущение побега, солнечной улицы без конца.

Главное, полагаю, было в перемене обстановки. В централизованном государстве все комнаты похожи: кабинет нашего директора школы был точной репликой следовательских кабинетов, в которые мне пришлось зачастить лет пять спустя. Те же деревянные панели, столы, стулья - столярный рай. Те же портреты основателей: Ленина, Сталина, членов политбюро и - Максима Горького, если дело было в школе, или Феликса Эдмундовича Дзержинского, если у следователя.

Впрочем, бывало нередко, что портрет железного Феликса, рыцаря революции, украшал стены и школьного кабинета, если очередной директор соскользнул в нарпросвет с высот ГБ. И эти штукатурные стены моих классов, с их синей горизонтальной полоской на уровне глаз, непрерывно бегущей через всю страну, как бесконечный общий знаменатель: зал, больниц, фабрик, тюрем, коридоров коммунальных квартир. Единственно, где я этого не видел - в крестьянских избах.

Самой своей вездесущностью это украшение сводило с ума; сколько раз в жизни я ловил себя на том, что сижу, бессмысленно уставясь в эту синюю полосу двухсантиметровой ширины, принимая

ее то за морской горизонт, то за воплощенное Ничто. Слишком она была абстрактна, чтобы что-то означать. От пола до уровня глаз стена была покрашена крысино-серым или зеленоватым, и синяя полоса завершала все; выше была девственная белизна штукатурки. Никто не спрашивал, зачем полоса. Никто бы и не дал ответа. Просто она была - пограничная полоса, межа - между серым и белым, между низом и верхом. То были собственно не краски, а намеки на краски, чередовавшиеся только с пятнами коричневого - дверьми. Закрытыми, приоткрытыми. И сквозь приоткрытую дверь можно увидеть другую комнату, с тем же распределением серого и белого, отмеченным синей полосой. Плюс портрет Ленина и карта мира.

Чудесно было уйти из этого кафкианского мира, хотя даже тогда - по крайней мере, мне так кажется - я знал, что меняю шило на мыло. Я ведь знал, что в какое другое здание мне ни предстоит войти, все будет выглядеть так же, поскольку как-никак предстояло продолжать жить внутри различных зданий. Все же я понимал, что куда-то идти надо. С деньгами в нашей семье было крайне скверно: существовали мы, главным образом, на мамину зарплату, потому что отец, уволенный с флота вследствие некоего высочайшего решения, что евреи не должны занимать высоких военных должностей, никак не мог найти работу. Конечно, родители вытянули бы и без моей помощи, они предпочли бы, чтобы я кончил школу. Я это знал, но говорил себе, что должен помочь семье. Это была почти что ложь, но так-то оно звучало лучше, да и к тому времени я уже научился любить ложь как раз за это "почти что", проявлявшее очертания правды: в конце концов, правда кончается там, где начинается ложь. Вот к чему научился мальчик в школе и что оказалось полезнее алгебры.

II

Ложь ли, правда ли, или, что всего вероятнее, смесь того и другого, именно это заставило меня принять решение, и я *этому* бесконечно благодарен за свой первый в жизни свободный поступок. Инстинктивный поступок, побег. Рассудок здесь едва ли при чем, я это знаю, потому что впоследствии мне приходилось совершать побег все чаще и чаще. И не обязательно от скуки или из опасения подстерегающей ловушки; я совершал побег из великолепных обстоятельств не реже, чем из ужасных. Как ни скромно занимаемое вами местечко, будьте уверены, что в один прекрасный день кто-то войдет и заявит на него права, или, что еще хуже, предложит делить его с вами. Тут вам нужно либо сражаться за свое место, либо покинуть его. Я как-то всегда предпочитал последнее. Вовсе не потому, что я не способен к борьбе, а из чистейшего недовольства собой: ухитрившись выбрать нечто привлекающее других, ты выдаешь тем самым вульгарность выбора. Это ничего не значит, что ты первый занял место. Даже еще хуже быть где-то первым, ибо аппетит у тех, кто придет потом, будет сильнее, чем твой, частично удовлетворенный.

Впоследствии я нередко сожалел о своем поступке, особенно когда видел хорошо устроившихся внутри Системы бывших одноклас-

сников. Но все же мне было ведомо нечто, неизвестное им. На самом деле я устраивался тоже, но в противоположном направлении, добываясь большего. Одно обстоятельство, которое меня особенно радует, это то, что я застал "рабочий класс" на его истинно пролетарской стадии, до того как он начал обмещаниваться в конце 50-х годов. Настоящий "пролетариат" был на фабрике, где я в пятнадцать лет начал работать фрезеровщиком. Маркс бы его вмиг узнал. Они - вернее, "мы" - все жили в коммунальных квартирах, по четверо или больше народу в одной комнате, часто три поколения семьи вместе, спали по очереди; пили зверски; скандалили друг с другом или с соседями на коммунальной кухне или в утренней очереди в коммунальный сортир; били своих баб смертным боем; в открытую плакали, когда Сталин откинул копыта, или в кино; матерились так часто, что обыкновенное слово, вроде "самолет", прозвучало бы в их речи для прохожего как нечто исключительно похабное - и становились серым безразличным океаном голов или лесом поднятых рук на собрании по поводу Египта или чего другого.

Завод был кирпичный, большой, прямо из времен промышленной революции. Он был построен в конце XIX века. Питерцы называли его "Арсенал": там делали пушки. К тому времени, когда я начал там работать, там также делали сельскохозяйственные машины и воздушные компрессоры. Однако, в соответствии с многослойной секретностью, которой окутано в России все, относящееся к тяжелой индустрии, у завода было кодовое название "почтовый ящик № 671". Я думаю, впрочем, что секретность ввели не столько для того, чтобы дурачить каких-то иностранных разведчиков, сколько для того, чтобы поддерживать полувоенную дисциплину, единственный способ обеспечить хоть какую-то стабильность производства. Но ни в том, ни в другом власти не преуспели.

Оборудование было устарелым: 90% вывезено из Германии по репарациям после второй мировой войны. Мне помнится целый зоопарк чугунных экзотических тварей, именуемых Цинциннати, Карлтон, Фриц Чернер, Сименс-унд-Шукерт. Планирование было ужасно: то и дело срочный заказ на изготовление какой-нибудь машины разрушал робкие попытки выдерживать хоть какой-то рабочий ритм, график. К концу квартала, когда план горел, администрация издавала воинственные кличи, бросая все силы на один участок, штурмуя план. Если что-то ломалось, запасных частей не было - вызывали бригаду всегда полупьяных ремонтников, кои упражнялись в чародействе. Металл приходил в кратерах. По понедельникам буквально все были с похмелья, не говоря уж о днях после получки.

Производительность резко падала на следующий день после поражения городской или советской сборной футбольной команды. Никто не работал, все обсуждали подробности игры и качества игроков, ибо наряду со всеми комплексами великой нации русские имеют и комплекс неполноценности, свойственный маленьким народам. Это - следствие, главным образом, централизации национальной жизни. Отсюда - положительная, "жизнеутверждающая" белиберда газет и радио даже при сообщении о землетрясении: вам никогда не сообщат число жертв, а только будут воспевать братскую помощь других городов и республик, снабдивших пораженную область палат-

ками и спальными мешками. Или о холерной эпидемии вы можете узнать только в форме сообщения о новейшем успехе нашей чудесной медицины, проявившемся в изобретении новой вакцины.

Все вместе выглядело бы совсем абсурдно, если бы не те ранние утра, когда, залив завтрак бледным чаем, я бежал на трамвай, прибавлял свою ягодку к темно-серой грозди человеческого винограда, свешивающегося с подножки, и плыл через розовато-голубой, акварельный город к деревянной конуре у заводского входа. Там два вахтера проверяли наши пропуска, а фасад конуры был украшен классическими пилястрами из фанеры. Я заметил позднее, что все входы тюрем, сумасшедших домов и лагерей выдержаны в том же стиле: во всех содержится намек на классический или барочный портик. Ничего себе отголосок. Внутри моего цеха под потолком переплетались оттенки серого, и пневматические шланги шипели мирно, змеясь среди мазутных луж, отливающих всеми цветами радуги. К десяти эти железные джунгли были на полном ходу, визжащие и рычащие, и стальной ствол будущей зенитки парил в воздухе как шея, отделенная от жирафа.

Я всегда завидовал тем персонажам XIX века, что были способны, оглядываясь, различать вехи на своем жизненном пути. Иные события обозначают переход, новую ступень. Я говорю о писателях, но на самом деле я имею в виду способность некоторых личностей осмысливать свою жизнь, видеть в ней все если и не ясно, то хотя бы по отдельности. И я понимаю, что это явление не следует ограничивать лишь XIX веком. Все же я в своей жизни его знаю главным образом по литературе. То ли в силу какого-то существенного дефекта моего сознания, то ли в силу текучести, аморфности самой жизни, я никогда не мог различать никаких вех, не говоря уж о буйках. Если уж существует в нашей жизни что-то вроде вехи, так вне предела наших собственных наблюдений, так как это - смерть. В известном смысле, никакого такого детства и не было. Все эти категории - детство, взрослость, зрелость - на мой взгляд, очень странны, и если я употребляю их иногда к слову, я всегда про себя отношусь к ним как к цитатам.

Думаю, что всегда было некое "я" внутри сначала маленькой, а позднее несколько увеличившейся раковины, вокруг которой происходило "все". Внутри этой раковины целостность, называемая "я", никогда не изменялась и никогда не прекращала наблюдать, что происходит снаружи. Я не пытаюсь намекать на жемчужины внутри. Я лишь говорю, что течение времени не слишком отражается на этой целостности. Получать двойку, работать на фрезеровальном станке, быть избиваемым в следственной камере или читать студентам о Каллимахе - все в сущности одно. Это-то и заставляет изумляться, когда вырастаешь и обнаруживаешь, что приходится иметь дело с вещами, которыми полагается заниматься взрослым. Раздражение ребенка по поводу родительского контроля над ним и паника взрослого перед лицом ответственности - одной природы. Человеческая единица всегда не то и не другое, не ребенок, не взрослый. Вероятно, единица меньше, чем "единица".

Все это, конечно, есть результат наших профессиональных занятий. Если вы банкир или летчик, вы знаете, что, накопив определенный опыт, вы, более или менее, можете гарантировать прибыль

или безопасную посадку. Тогда как в писательском ремесле накапливается не опыт, а неуверенность. Которая по-другому и называется мастерством. В этой области, где опыт гибелен, представления о созревании и зрелости перемешаны, а паника - обычное состояние рассудка. Так что я бы кривил душой, если бы придерживался хронологии или чего бы то ни было, напоминающего линейный процесс. Школа есть завод есть стихотворение есть тюрьма есть академия есть скука - со вспышками паники.

Не считая того, что завод был рядом с больницей, а больница рядом с самой знаменитой тюрьмой Всея Руси - Кресты (999 камер). И в морг этой больницы я пошел работать, когда ушел с Арсенала, потому что была у меня мысль стать врачом. Когда вскоре после этого я передумал и стал писать стихи, Кресты открыли мне двери своей камеры. Когда я работал на фабрике, мне была видна больница за забором. Когда я резал и зашивал трупы в больнице, мне были видны арестанты на прогулке во дворе Крестов; иногда они ухитрялись перебросить письмо через забор, и я его подбирал и отправлял. Благодаря такой тесной топографии и содержанию раковины, все эти места, службы, заключенные, рабочие, охранники и доктора слились воедино, и я уже не знаю, то ли я припоминаю кого-то, ходящего взад и вперед по уютнообразному дворику Крестов, то ли самого себя, слоняющегося там. К тому же фабрика и тюрьма были выстроены примерно в одно время и были неразличимы снаружи - каждое здание выглядело как крыло другого.

Так что мне не стоит пытаться быть последовательным здесь. Для меня жизнь никогда не выглядела как набор четко обозначенных перемен; она скорее нарастает как снежный ком, и чем дальше, тем больше одно место (и одно время) напоминает другое. Я помню, например, как в 1945 году мы с матерью ждали поезда на какой-то железнодорожной станции под Ленинградом. Война только что кончилась, двадцать миллионов русских гнили закопанные на скорую руку по всему континенту, а остальные, рассеянные войной, возвращались к своим домам или к тому, что еще оставалось от их домов. Вокзалы вляjali картину первичного хаоса. Люди осаждали вагоны для перевозки скота, как безумные насекомые; карабкались на крыши вагонов, втискивались между вагонов, и тому подобное. Почему-то мне попался на глаза один лысый старик-инвалид на деревянной ноге, который пытался влезть в один вагон за другим, но каждый раз его отталкивали те, кто уже висел на подножке. Поезд двинулся, и старик поскакал за ним. В какой-то момент он изловчился ухватиться за поручень одного из вагонов, и тогда я увидел, как женщина в дверях подняла чайник и стала лить кипяток прямо на лысое темя. Человек упал, броуновское движение тысяч ног поглотило его, я потерял его из вида.

Это было жестоко, да, но этот пример жестокости сливается в моем сознании с историей, случившейся двадцать лет позднее, когда была поймана группа полицеев. Они сотрудничали с немецкими оккупационными войсками. Так писали в газетах. Их было шесть или семь стариков. Имя главного было, несомненно, Гуревич или Гинцбург, то есть он был еврей, как это ни невероятно - еврей, сотрудничавший с нацистами. Все они получили различные приговоры.

Еврей, естественно, высшую меру. Мне рассказывали, что в утро казни его вывели из камеры, и по дороге во внутренний двор тюрьмы, где поджидали солдаты с автоматами, офицер, командир охранников, спросил: "А, кстати, Гуревич (или Гинцбург), у тебя есть последнее желание?" "Последнее желание? - переспросил человек. - Не знаю... Мне бы отлить..." На что офицер ответил: "Там отлешь". Теперь для меня обе истории - одно; было бы еще страшней, если бы вторая оказалась просто фольклором, хотя я не думаю, что она выдуманна. Я знаю сотни подобных историй, возможно, больше, чем сто. И они все сливаются.

Мой завод отличало от школы не то, чем я занимался внутри каждого из этих учреждений, не то, о чем я думал в соответствующие периоды, а то, как выглядели их фасады, когда я смотрел на них, идя в класс или в цех. В конечном счете, внешний вид - это все, что есть. Одна и та же идиотская участь постигает миллионы и миллионы. Существование как таковое, монотонное само по себе, было сведено централизованным Государством к однообразной суровости. Все, за чем еще можно было наблюдать, были лица, погода, здания; и язык, которым люди пользовались.

У меня был дядя, член партии и, как я теперь понимаю, страшно хороший инженер. Во время войны он строил бомбоубежища для Parteigenossen, а до и после - мосты. Мой отец издевался над ним, когда скандалил с матерью из-за денег, потому что мать постоянно ссылалась на брата-инженера как образец правильной, солидной жизни, и я привык более или менее автоматически презирать его. Но у него была великолепная библиотека. Я не думаю, что он много читал. Но среди советского среднего класса всегда считалось и считается шикарным подписываться на новые издания энциклопедии, классиков и т. п. Я ему бешено завидовал. Помню, раз стоял за его креслом, впившись глазами ему в затылок, и думал, что могу его убить, чтобы мне достались книги, потому что он был неженат и бездетен. Я пользовался книгами с этих полок и даже подобрал ключ к высокому шкафу, где за стеклом стояли четыре огромных тома дореволюционного издания - "Мужчина и женщина".

Это была обильно иллюстрированная энциклопедия, которой я и до сих пор признателен за основные познания в области запретных плодов. Если порнография, в общем, может быть определена как неодушевленный объект, вызывающий эрекцию, то стоит отметить, что в пуританской атмосфере сталинской России можно было завестись от стопроцентно невинного соцреалистического полотна "Прием в комсомол", бесчисленные репродукции коего украшали почти каждую классную комнату. Среди изображенных на картине персонажей была молодая блондинка, сидящая в кресле, нога на ногу, так что виднелись пять-шесть сантиметров ее бедра. Не столько этот кусочек бедра сам по себе, сколько его контраст с темным платьем женщины, вот что сводило меня с ума и преследовало во сне.

Именно тогда я научился не доверять всей этой чепухе насчет подсознания. Я полагаю, что мои сны никогда не были символическими, мне всегда снились реальные вещи: грудь, ляжка, женское

белье. Что до последнего, то оно имело какое-то особое значение для нас, тогдашних мальчиков. Помню, во время урока кто-нибудь проползал под партами, подо всем рядом, до учительского стола с единственной целью заглянуть под платье и выяснить, какого цвета трико сегодня на учительнице. По завершении экспедиции смельчак оповещал класс драматическим шопотом: "Лиловое".

Короче говоря, нас не очень-то донимали наши фантазии — с лихвой хватало реальности. Я уже говорил как-то, что русские никогда не бегают по психиатрам. Прежде всего, таковых не так уж много. Во-вторых, психиатрия государственная. Никому неохота быть зарегистрированным в психдиспансере. В любой момент за это можно поплатиться. Так что мы уж старались сами разбираться с нашими проблемами, без посторонней помощи следить за происходящим в наших головах. Несомненное преимущество тоталитаризма состоит в том, что он предполагает наличие своего рода вертикальной иерархии, личной для каждого индивидуума, с собственным сознанием в качестве вершины. Так что мы присматриваем сами за тем, что в нас происходит; мы вроде как доносим сознанию на собственные инстинкты. И потом наказываем себя. Если потом мы обнаруживаем, что наказание не повлияло на эту свинью внутри нас, мы напиваемся до остоленения.

На мой взгляд, такая система эффективна, и расходов меньше, чем ходить к психоаналитикам. Не то что я считал бы, что подавление лучше свободы, просто мне кажется, что механизм подавления также свойствен человеческой психике, как и механизм раскрепощения. Кроме того, думать о себе, что ты свинья, смиреннее и точнее, чем думать, что ты падший ангел. Я имею все основания так считать, потому что в стране, где я прожил тридцать два года, разврат и хождение в кино суть единственные формы свободного предпринимательства. Плюс Искусство.

Так или иначе, я был патриотом. Это был обычный детский патриотизм, сильно отдающий милитаризмом. Я обожал военные корабли и самолеты, и ничего не было для меня прекраснее, чем флаг ВВС, желто-голубой, похожий на раскрытый парашют с пропеллером посередине. Я любил самолеты и до недавнего времени внимательно следил за развитием авиации. С появлением ракет я сдался, моя любовь превратилась в ностальгию по моторным аэропланам. (Я знаю, что я в этом не одинок: мой девятилетний сын сказал однажды, что когда вырастет, он уничтожит все реактивные самолеты и восстановит бипланы.) Что касается военно-морского флота, я был сын своего отца и четырнадцати лет отроду подал заявление в подводное училище. Экзамены я сдал, но из-за пятого пункта, национальности, не был принят, и моя иррациональная любовь к флотским шинелям с их двойным рядом золотых пуговиц, напоминающих ночную улицу с уходящими вдаль фонарями, осталась неутоленной.

Борьба, внешняя сторона жизни всегда значила для меня больше, чем содержание. Например, я влюбился в фотографию Самюэля Беккета задолго до того, как прочел хотя бы одну его строчку. Что касается военной службы, тюрьмы избавили меня от призыва, и моя любовь к мундиру навсегда осталась платонической. На мой взгляд, тюрьма куда лучше, чем армия. Прежде всего, в тюрьме те-

бя не учат ненавидеть этого далекого "потенциального" противника. В тюрьме противник не абстракция, он конкретен, его можно потрогать. То есть твой противник всегда может потрогать тебя. Наверное, "противник" слишком сильное слово. В тюрьме имеешь дело с исключительно одомашненной идеей противника, все дело от этого принимает привычный характер, приземляется. В конце концов, мои надзиратели и сокамерники ничем не отличались от тех учителей и рабочих, которые унижали меня во время моего школьного и фабричного ученичества.

Другими словами, центр тяготения моей ненависти не растворился в чуждом капиталистическом нигде, а был прямо здесь, руку протянуть. Да даже и не было это ненавистью. Проклятое понимание и, следовательно, всепрощение, начавшееся в школьные годы, расцвело в тюрьме полным цветом. Не думаю даже, чтобы я ненавидел моих следователей-кагебешников: я склонялся к тому, чтобы и их оправдать (ни к чему другому не пригоден, семья кормить надо и т. п.). Единственно кого я никогда не мог оправдать, были те, кто правил страной, и то, может быть, лишь потому, что никогда не видел вблизи ни одного из них. Что же до врагов, в камере самый непосредственный враг - недостаток пространства. Формула тюрьмы: недостаток пространства, балансируемый избытком времени. Что тебя там всерьез донимает, так это полная проигрышность положения. Тюремьма есть отсутствие альтернатив, и уходящая в бесконечность предсказуемость будущего сводит с ума. Но и так это куда лучше той торжественности, с которой армия натравливает тебя на людей, населяющих другую половину земного шара.

В советской армии служат от трех до четырех лет, и я никогда не встречал никого, чья психика не была бы искалечена смиренной рубашкой стального послушания. За возможным исключением музыкантов военных оркестров и двух моих отдаленных знакомых, офицеров-танкистов, застрелившихся в Венгрии в 1956 году. Именно армия окончательно превращает тебя в гражданина, без нее у тебя есть еще шанс, хотя бы ничтожный, остаться человеком. Если я чем и горжусь в своем прошлом, так это тем, что я стал заключенным, а не солдатом. Хотя я и упустил военный жаргон - единственное, что меня в этом деле беспокоило, - я зато с избытком наверстал уголовным аргом.

Все же военные корабли и самолеты были прекрасны, и с каждым годом их становилось все больше. В 1945 на улицах было полно грузовиков-студебеккеров и джипов с белыми звездами на дверях и капотах - американское снаряжение, которое мы получали по ленд-лизу. В 1972-м уже мы продавали подобные вещи *urbi et orbi*. Если жизненный уровень в этот период поднялся на 15-20 процентов, то уровень вооружения должен быть выражен в десятках тысяч процентов. И он будет повышаться, потому что это, пожалуй, единственная реальная вещь, которая есть у нас там, единственная осязательная область прогресса. Также потому, что военный шантаж, то есть постоянное наращивание вооружений, вполне терпимое в тоталитарных условиях, может подорвать экономику любого демократического соперника, который попытается поддерживать баланс сил. Гонка вооружений - не безумие; это лучший из доступных способов влиять на экономику соперников, и в Кремле это вполне понимают.

Кто бы то ни было, любое государство, стремящееся к мировому господству, делало бы то же самое. Альтернативы либо слишком трудно осуществимы (экономическое соревнование), либо слишком страшны (фактическое использование вооружения).

Кроме всего прочего, армия - это крестьянская идея порядка. Нет ничего более эффективного для самоутверждения среднего человека, чем вид когорта, проходящих парадом перед членами политбюро на трибуне мавзолея. Я полагаю, что им никогда не приходило на ум, что в топтании на гробнице со святыми мощами есть нечто кощунственное. Здесь, видимо, предполагается идея преемственности, но что действительно грустно в связи с этими фигурами на мавзолее, это то что они в самом деле подобны мумии в отрицании времени. Вы видите это по телевизору или на плохих фотографиях в миллионах экземпляров государственных газет. Как древние римляне привязывали себя к имперскому центру, всегда ориентируя главную улицу новых поселений в направлении с севера на юг, так русские верят стабильность и предсказуемость своего существования по этим картинкам.

Когда я работал на заводе, в обед мы выходили на заводской двор; одни присаживались и разворачивали бутерброды, другие курили или играли в волейбол. Там была небольшая клумба, окруженная стандартным деревянным заборчиком фабричного изготовления. Он представлял собой ряд дощечек полуметровой высоты, помещенных на расстоянии пяти сантиметров друг от друга и скрепленных такой же поперечной, и был выкрашен в зеленый цвет. Все это было покрыто пылью и сажой, как и пожелтевшие, повядшие цветы на квадратной клумбе. Куда бы вы ни поехали в этой Империи, вы всюду найдете такие заборчики. Их изготавливают промышленным способом, но даже когда люди делают их вручную, они всегда следуют тому же образцу. Однажды я поехал в Среднюю Азию, в Самарканд; меня разобрало от всех этих бирюзовых куполов и непостижимых орнаментов на медресе и минаретах. Они в самом деле существовали! И вдруг я увидел такую загородку, с ее идиотским ритмом, и сердце мое екнуло, и Восток исчез. Мелкомасштабная, как на расческе, повторяемость узкого палисада мгновенно уничтожила пространство - а заодно и время - между заводским двором и древним престолом Кублахана.

Нет ничего более удаленного от этих дощечек, чем природа, на чью зелень по-идиотски намекает краска. Эти дощечки, правительственное железо перил, неизбежное хаки мундиров в каждой толпе на каждой улице каждого города, вечные фотографии дома в каждой утренней газете и бесконечный Чайковский по радио - все это может свести с ума, если вы не научитесь выключаться. На советском телевидении нет рекламы, зато есть портреты Ленина и так называемые "фотоэтиды": "Весна", "Осень" и прочие - в перерывах между передачами. Плюс пузырящаяся "легкая" музыка, для которой и композитора не надо, ее динамик сам производит.

В те времена я еще не знал, что все это было итогом века прогресса и разума, века массового производства; я приписывал это государству и, частично, нации, которая пойдет на что угодно, лишь бы не требовалось воображения. Я и сейчас не думаю, что я был совсем неправ. Разве не легче распределять просвещение и

культуру в централизованном государстве? Правителю, теоретически, доступнее совершенство (которое он и так провозглашает), чем парламентарий. Руссо был против. И, увы, в России никогда так не получалось. Эта страна, с ее великолепно гибким языком, способным выражать тончайшие нюансы в человеческой психологии, с ее невероятной нравственной чуткостью (положительный результат трагической истории), обладает всем необходимым, чтобы стать культурным, духовным раем, подлинным оплотом цивилизации. Вместо этого она превратилась в сероватый ад, с заняханной материалистической догмой и с патетическими порывами к потребительству.

Но мое поколение как-то убереглось. Мы вылезали из послевоенных развалин, когда Государство было слишком занято залатыванием собственной шкуры, чтобы как следует за нами присматривать. Мы пошли в школу, и какой бы возвышенной чепухе нас там ни учили, страдания и бедность вокруг были слишком очевидны. Руины номером "Правды" не прикроешь. Пустые окна глазели на нас, как глазницы черепов, и как ни малы мы были, мы ощущали трагедию. Правда, мы не видели связи между нами и руинами, но это и не нужно было: не что исходило от них, что обрывало смех. Потом мы могли снова засмеяться, вполне бездумно, но все же это было уже "снова". В те послевоенные годы мы ощущали в воздухе странное напряжение, нечто нематериальное, почти призрачное. И мы были малы, дети. Всего не хватало, но поскольку мы не знали других времен, мы не замечали. Велосипеды были старые, довоенного выпуска, и владелец футбольного мяча считался буржуем. Пальто и белье, которое мы носили, было перешито матерями из отцовских униформ и заплатанных кальсон (поклон Зигмунду Фрейду). Так что страсть к приобретению в нас не развивалась. То, что мы могли приобрести позднее, было скверно сделано и выглядело уродливо. Как-то идеи вещей мы предпочитали вещам как таковым, хотя когда случалось взглянуть в зеркало, нас не очень радовало то, что мы там видели.

У нас никогда не было собственных комнат, чтобы затаскивать туда наших девочек, и у наших девочек комнат не было тоже. Наши романы были, главным образом, прогулочные и разговорные, набралась бы сногшибательная сумма, если бы с нас тогда брали за километр. Старые склады, набережные реки в промышленных районах, твердые скамейки в мокрых скверах, холодные подьезды учреждений - вот типичные декорации первых наших пневматических услад. У нас никогда не было того, что принято называть "материальными стимулами". Что до идеологических - они вызывали смех даже у детсадовцев. Если кто продавался, то не ради вещей и комфорта - таких не было. Продавались по внутреннему побуждению и сами это понимали. Не было вознаграждения, одни чистые потребности.

Если мы делали нравственный выбор, он был основан не столько на непосредственной реальности, сколько на этических нормах, почерпнутых из художественной литературы. Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанных книг. Книги, может быть, благодаря их чисто формальной законченности, обладали абсолютной властью над нами. Диккенс был реальнее Сталина и Бери. Более чем что бы то ни было романы определяли характер нашего поведения и разговоров, и девяносто процентов разговоров бы-

ло о романах. Это превращалось в порочный круг, но у нас не было желания разорвать его.

В нравственном отношении это поколение было среди самых книжных в русской истории, и спасибо Тебе, Господи, за это. Отношения могли быть прерваны навеки из-за предпочтения Хемингуэя Фолкнеру; иерархия внутри этого пантеона была нашим подлинным центральным комитетом. Начиналось с обыкновенного набирания знаний, но скоро стало наиважнейшим занятием, в жертву которому все приносилось. Книги стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой. По сравнению с иными мы, казалось, проваливали и подделывали наши жизни. Но если подумать, действительность, игнорирующая провозглашенные литературой стандарты, ниже литературы и недостойна внимания. Так думали мы и, полагаю, были правы.

Инстинктивно чтение предпочиталось действию. Не удивительно, что наши фактические жизни были полным кошмаром. Даже те из нас, кто умудрился продрасть сквозь бурелом "высшего образования", с его неизбежным лизо-(не только)-блудством при Системе, в конце концов попадали под влияние налагаемых литературой требований и не могли больше лгать. Мы скатывались к случайным работкам - физический труд, редактирование - к чему-нибудь бессмысленному, как вырубание надгробных надписей, черчение, технический перевод, счетоводство, переплет книг, проявление рентгеновских снимков. Время от времени мы возникали на пороге друг у друга с бутылкой в одной руке и с цветами, сладями или закусками в другой и проводили вечер в разговорах, сплетнях, злопыхательстве по поводу идиотизма чиновников наверху, гадая, кто из них умрет первым. И тут я должен отбросить местоимение "мы".

Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто в России не умел писать лучше, чем они, никто глубже не презирал наше время. Для них цивилизация означала больше, чем ежедневный хлеб и еженощное объятие. Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедшее себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее. Бедно одетые, но все же как-то элегантные, тасуемые глупыми лапами своих непосредственных хозяев, бегающие, как кролики, от вездесущих цепных псов Государства и от его еще более вездесущих ищек, сломленные, стареющие, они все-таки сохраняли любовь к несуществующей (или существующей лишь в их лысеющих головах) вещи под названием "цивилизация". Безданно отрезанные от остального мира, они думали, что по крайней мере этот остальной мир похож на них; теперь они знают, что и остальной мир таков же, только лучше одет. Когда я пишу это, я закрываю глаза и почти вижу их, стоящих посреди обшарпанных кухонь, со стаканами в руках, с иронической гримасой поперек лица. "Да, да... - ухмыляются они. - Liberté, Egalité, Fraternité... Почему только никто не прибавит Культура?"

Память, мне кажется, заменяет хвост, навсегда утраченный нами в счастливом процессе эволюции. Она определяет наши движения,

в том числе и миграции. И помимо этого, есть что-то откровенно атавистическое в самом процессе воспоминания, хотя бы потому, что этот процесс никогда не бывает линейным. К тому же, чем больше вспоминаешь, тем ты, возможно, ближе к смерти.

Если так, то хорошо, когда память спотыкается. Чаще она скручивается, раскручивается, виляет туда-сюда, в точности как хвост; так надо и писать, даже если рискуешь быть непоследовательным и скучным. Скука, в конечном счете, наиболее характерное свойство бытия, удивительно, почему ее так низко ценили в прозе XIX века, которая так гонялась за реализмом.

Но даже если у писателя есть все необходимое для того, чтобы воспроизводить на бумаге легчайшие колебания сознания, попытки воспроизвести хвост во всем его спиральном великолепии обречены на провал, даром, что ли, была эволюция. Перспектива годов выпрямляет все до полного исчезновения. Ничто ничего не возвращает, даже написанные слова с их закрученными буквами. Еще более обречена такая попытка, если хвост ухитрился застрять где-то позади, в России.

Но это было бы еще ничего, если бы печатные слова были только знаками забвения. Печальная истина состоит в том, что и в реальности слова не могут преуспеть. У меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может, и наверное не должна, стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести отрицательные реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий.

История, без сомнения, повторяет самое себя: в конце концов, как и у человека, у нее не слишком велик выбор. Но по крайней мере, должна быть доступна роскошь отдавать себе отчет, жертвой чего именно ты становишься, имея дело со странной семантикой, управляющей такой чуждой сферой как русская жизнь. Иначе попадешься в западно-собственных концептуальных и аналитических навывок, например привычки использовать язык для расчленения действительности, тем самым лишая собственное сознание выгод интуитивного постижения. Ибо, при всей их красоте, отдельные концепции всегда означают сужение значения, обрезание болтающихся концов. Тогда как в феноменальном мире в болтающихся концах-то все и дело, ибо они переплетаются.

Сами эти слова свидетельствуют,²² что я далек от того, чтобы обвинять английский язык в неэффективности, и не оплакиваю сонное состояние психики говорящих на нем. Я просто высказываю сожаление по поводу факта, что такой развитой идее Зла, какой обладают русские, закрыт доступ в сознание говорящих по-английски людей на том основании, что русский синтаксис слишком извилист. Позволительно спросить, многие ли из нас могут припомнить Зло, которое запросто, с порога сказало бы: "Привет. Я - Зло. Как дела?"

²²Уместно напомнить, что в оригинале статья написана по-английски. Переводчик.

Если всему, что я здесь написал, присущ некий элегический оттенок, то это скорее из-за жанра произведения, чем из-за его содержания, которому больше бы подошла ярость. Впрочем, ни грусть, ни гнев не передают смысла прошедшего; элегичность, по крайней мере, не создает еще новой реальности. Что бы такое хитроумное ты ни соорудил для уловления собственного хвоста, всегда дело кончится неводом, полным рыбы, но без воды. Той, что раскачивает лодку. И уже от одного этого мутит или тянет к элегическому тону. Или вытряхиваешь рыбу обратно.

Жил-был однажды маленький мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Которой управляли существа, которых, случись, кто угодно признал бы дегенератами. Чего не случалось.

И был город. Самый прекрасный город на земле. С огромной серой рекой, которая висела над своим отдаленным дном, как огромное серое небо, которое висело над этой рекой. Над этой рекой стояли изумительные дворцы, со столь изукрашенными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый берег выглядел как отпечаток огромного моллюска, именовавшегося цивилизацией. Которая перестала существовать.

Рано утром мальчик вставал, и съев яйцо с чаем, под аккомпанемент радиосообщения о новой рекордной выплавке стали, за которым вслед армейский хор пел гимн Вождю, чей портрет был приколот над еще теплой постелью мальчика, он бежал по заснеженной гранитной набережной в школу.

Широкая река лежала белая и замерзшая, как язык умолкшего материка, и большой мост изгибался под темносиним небом, как железное небо. Если у мальчика еще было минутки две, он съезжал на лед и делал шагов двадцать-тридцать по направлению к середине. В такие минуты он думал о том, что же делает рыба под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал назад, уже без остановок, прямо до школьного подъезда. Он врывался в вестибюль, цеплял на крючок пальто и шапку и взлетал по лестнице в класс.

Это большая комната, с тремя рядами парт и портретом Вождя на стене за стулом учителя, с картой двух полушарий, из которых только одно законное. Мальчик садится на свое место. Открывает портфель, кладет на парту тетрадь и вставочку, поднимает лицо и приготавливается слушать вздор.

Перевел с английского А. Лосев

Алексей ЛОСЕВ

ИОСИФ БРОДСКИЙ.

ПРЕДИСЛОВИЕ



*И первый звук Хотинской оды
Нам первым звуком жизни стал.*

Ходасевич

На Доске Судьбы русской поэзии можно различить четыре окруженные даты: 1750, 1820, 1910, 1960. Некое завихрение происходило вокруг этих хронологических точек, накапливалось критическое количество новых смыслов в языке, новых понятий в культуре, новых мироощущений, и все это разрешалось появлением новой поэтической плеяды, которая отменяла, пересматривала, извращала, обогащала предшествующую эстетику и поэтику до такой степени, что возникала качественно новая система поэтического языка и художественных критериев. Как и при всякой революции, русские разделялись на два бурнопламенных меньшинства – радикальных сторонников и консервативных противников – и подавляющее большинство – равнодушных, причем именно последним принадлежала решающая роль в постепенной канонизации новой системы, которая таким образом теряла свою новизну. Четырежды на протяжении двух веков это были именно плеяды, и лишь для подтверждения того, что природа не терпит упрощенно понятой регулярности, являлись гениальные одиночки, предтечи – Державин, Некрасов, Фет. Среди каждой из четырех плеяд всегда можно выделить одного поэта, не обязательно старшего, не обязательно самого плодovitого и не обязательно самого признанного, но такого, в чьей личности-творчестве процесс становления новой системы нашел самое последовательное, самое предельное и самое органичное воплощение, кому, в силу неисчислимых причин, случилось быть тем самым фокусом, где преломились лучи предшествующей культуры и поэзии и откуда пошел новый свет, определивший новое видение. Ломоносов, Пушкин, Хлебников, Бродский – что роднит этих четырех при всем очевидном, не-

суразном несходстве — это, во-первых, колоссальность отпущенного им природой творческого потенциала, а во-вторых, исключительная интимность отношения к русской истории, вплоть до полного с ней самоотождествления. Еще одно, видимо, неизбежное сходство — это кое-какие биографические трудности, ибо бремя всех этих символов — "воплощение новой системы", "центр плеяды", "преломление лучей культуры", "заряд творческой энергии", "Ломоносов-Пушкин-Хлебников-Бродский" — ложится в конце концов на плечи просто человека.

"Хотинской одой" Бродского, мне кажется, было стихотворение "Холмы".



*Он встал в ленинградской квартире,
растравив среди тишины
шесть крыл, из которых четыре,
я знаю, ему не нужны.*

Кутнер

Был такой советский кинорежиссер Петров-Бытов, который снискал некоторую известность не своими фильмами, а в качестве примера в книжках по психиатрии, как образчик паранойи "творческой личности". П.-Б. задвинулся на фразе "Материя проницаема мгновенно", которая пришла к нему как внезапное откровение, открывающее всю суть мудрости земной. Он пытался поделиться своим даром, снимающим все стоящие перед человечеством проблемы, с коллегами по Дому Кино, за что его и сунули в сумасшедший дом, где он нашел аудиторию, более озабоченную проблемами человечества. Рискну сказать, что ненормальный деятель советского киноискусства был прав. Если понимать слово *материя* в несколько архаическом смысле ("Потолкуем о важных материях..."), то, действительно, все принципиально важное, с чем мы сталкиваемся в жизни, мы "проницаем" мгновенно, а уж потом объясняем, растолковываем себе и другим.

Так я и многие люди моего поколения мгновенно схватили ту новизну, которая довольно-таки внезапно зазвучала в стихах двадцатилетнего Иосифа. Отметим слово *звук*.

Однажды, думаю, что это было в начале лета 1966 года, меня пригласили на вечер поэзии для сотрудников Ботанического института в Ленинграде. Я опаздывал. Шел по улицам Аптекарского острова, по узким заросшим аллеям Ботанического сада. В углу стояло по-петербургски желто-белое здание, выстроенное в начале века в том стиле подражания петровскому барокко, который лучше самого петровского барокко. Уже у входа я почувствовал, что мое движение подчинено какому-то извне диктуемому ритму. По лестнице я поднимался, все громче слыша голос, но не разбирая слов. На каждый широкий марш, освещенный желтым солнцем через широкие переплетчатые окна, приходилось семь набирающих высоту строк строфы, а на площадку — разрешающая каденция восьмой строки. Ровно на начале четвертой строфы я оказался у двери, вошел в зал и

стал разбирать слова. Впрочем, если бы спросили, я не смог бы вслед за чтением пересказать услышанное, как ни сильно оно меня потрясло. Просодической атакой как бы разрушило обычно безотказные фильтры отбирающего и разбирающего сознания, и парадоксальные образы, необычайные ассоциации и весь образ стихотворения "проницался мгновенно". Но помимо мгновенного, эта просодия обладала и не менее сильным замедленным действием: стройная и сложная гармоническая структура внедрялась в сознание, и за глубоким впечатлением следовало не менее глубокое понимание.

Таково, видимо, действие каждой качественно новой просодии. Первым впечатлением старух Надежды Яковлевны и Анны Андреевны от чтения Иосифа было: "Боже, как похоже на Осипа!" Пушкинист Ленский записал от нескольких глубоких старцев в конце прошлого века, как им запомнилась манера Пушкина читать собственные стихи. "Совсем не похоже на простую речь, а почти как пение, музыка". Я уверен, что сходство впечатлений у слушателей Пушкина, Мандельштама и Бродского определяется не сходством их интонаций, гармонических ходов, тембров (которого, вероятно, не было, да и как проверишь!), а предельностью выявления уникальных просодических элементов, на какую способен только сам автор, в меньшей степени — другие поэты, и никогда — актеры, с их озабоченностью выявлением "смысла".

У Бродского эта поэтическая способность выявлять просодию собственных стихов присутствует в такой степени, что делает его невозможным участником коллективных поэтических радений: в памяти слушателя голос Бродского будет не только доминировать, но просто вытеснит все остальные. Так еле слышны в моей памяти прочие голоса на самом замечательном поэтическом вечере из всех, на каких мне доводилось присутствовать, хотя вижу я его очень ясно.

Происходило это в передней квартиры на Можайской улице, где я жил, и нужна небольшая справка по истории и географии этой квартиры, чтобы объяснить, почему в передней. Мифология: в доисторические времена можно предположить, что в квартире проживал Подросток, поскольку Достоевский сообщает его адрес — "на Можайской улице". Достоверная история: в так называемые "лучшие времена" эту квартиру с четырьмя комнатами занимал небогатый доктор, а в худшие в полутора комнатах на западе квартиры жила семья Рабинович, в полутора комнатах посередине (одна из докторских комнат была поделена глухой перегородкой на две) — жила наша семья (моя мать, мой покойный отчим, я — позднее к нам присоединилась моя жена, позднее к нам присоединился наш сын), а в комнате на востоке квартиры жила другая семья Рабинович. Рабиновичей и Рабиновичей связывали узы тридцатилетней взаимной ненависти, которая поддерживалась ежедневными перебранками у коммунальной плиты или у дверей коммунальной уборной. Раз в месяц случались физические действия. Мама, искусно используя наше среднее положение, на протяжении тридцати лет ухитрялась избегать серьезных конфликтов с обоими соседями, служила посредником, когда надо было принять глобальные решения, касающиеся квартиры (например, ремонт), иногда извлекала из этого положения некоторые выгоды (например, ей открывали кредит до полочки

обе стороны), но этот неустойчивый баланс сил требовал неусыпного внимания и немалого дипломатического мастерства. Мне все это обеспечило интимное понимание геополитики.

Таким образом, когда в один прекрасный вечер случайно, не сговариваясь, у меня сошлась дюжина поэтов – Виноградов, Еремин, Уфлянд, Кулле, Рейн, Бобышев, Бродский и нагрывшие из Москвы Чертков, Красовицкий, Хромов, Сапфир, их просто негде было усадить в требуемый для взаимного чтения круг, кроме нашей довольно просторной передней. Если там и не хватало кое-кого из общих приятелей (Горбовского, Кушнера, Ахмадулиной), то все равно собрание было очень представительным. Бродского, которого привели Бобышев и Рейн, я тогда увидел в первый раз. То есть очень вероятно, что видел я его и раньше, даже помню, что вполне равнодушно просматривал несколько его стихотворений еще году в пятьдесят девятом, но мне кажется, что тогда, весной 1962 года я увидел его впервые, потому что я его впервые услышал. Теперь я думаю, что многие из читавшихся в тот вечер стихов были и глубже и зреее, чем "Холмы", но помню я только чтение "Холмов".

Такова была волшебная сила искусства, что притихли соседи. Утихло все. (Может быть, в чтении Иосифа их заворожило то, что несколько позднее доносчик Щербаков назвал "хасидическими завываниями""). Когда я говорю "плеяда", мне эти плеяды отчетливо видны, просвечивающие одна сквозь другую: апоплексические профессора Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Петров, в пыльных и плохо расчесанных париках, за столиком приуниверситетского заведения на углу Среднего и Третьей линии, расплескивающие на кружевные жабо ши и водку, с неодобрением глядя друг на друга, они, загибая пальцы, пересчитывают ударные и безударные слоги в своих ямбах и хорях; Пушкин, возвращающийся среди ночи домой, разряжающий напряжение дня затрепанным дворнику, крадущийся к дивану у себя в кабинете, пугливо косясь на груды счетов и корректур на конторке, и привычно коротающий бессонницу, вспоминая без труда стихи Дельвига, Боратынского, даже Раича и Тютчева, пока не начнутся свои; Мандельштам, надменно закидывающий голову над эклером и ликером, Николай Степанович, который даст ему потом на извозчика и запишет долг в книжечку под приглянувшейся строчкой, нарисованная розочка подрагивает на крепкой щеке Бенедикта, придерживающего за плечо задремавшего Велемира в раннем утреннем трамвае; и этот тесный круг в пыльной передней, и на заднем плане смазанная фигура западного Рабиновича, пугливо, на цыпочках пробирающегося на восток, в уборную.



Из сей выписки читатели могут видеть, что проза г. Б (...) не уступает его стихам.

"Русский Вестник" (1817)

Французы отлично доказали нам, что стиль – это человек (самое фразу вымолвил Ренар, обратил в концепцию Ролан Барт, а в

"Донес Щербакова цитируется в книге Сергея Довлатова "Невидимая книга", Ардис, 1978, стр. 38-42.

научную теорию оформил Риффатерр). Поэтому, если мы хотим понять, что означал введенный Бродским новый стиль для истории русской поэзии, то сначала надо обратиться к истории личности поэта. Эта история изложена в автобиографическом очерке "Меньше, чем единица". Тот же очерк открывает прекрасные возможности для наблюдения за стилем Бродского.

Автор как будто бы не рассчитывает на самостоятельное приращение фразы к фразе, смысла к смыслу и употребляет в дело огромное количество соединительного материала: "собственно говоря", "по крайней мере", "соответственно", "и дело тут не в том, что... а в том, что..." "так что", "таким образом", "хотя бы потому, что", "не только... но и...", "не столько... сколько...", "если не... то..." и так далее и тому подобное.

Поиски литературных аналогий такому стилю безостановочно провлекут нас назад сквозь весь двадцатый и девятнадцатый век, напрямик в допушкинскую эпоху. Скажем, в описаниях Петрограда предтеча Бродского не Пушкин, хотя он и ссылается на вступление к "Медному Всаднику" как на точку отсчета в истории петербургской литературы, а разве что Батюшков с его "Прогулкой в Академию художеств": плавно текущий монолог построен так, чтобы не раздражать читателя (или, скорее, любезную читательницу) столкновениями картин и смыслов, а скорее чтобы загипнотизировать непрерывностью авторской речи. И там, ранее Батюшкова, в восемнадцатом веке, и еще глубже, в допетровскую эпоху, мы найдем немало параллелей стилю Бродского: оды, рассчитанные на акустику парадных анфилад, монологи трагедий для произнесения со сцены, проповеди для оглашения с амвона, похвальные слова, поучения.

Бродский по-своему прав, когда он настаивает, что наша литература началась разве что немного раньше пушкинской поры, потому что он понимает литературу как искусство печатного слова (от типографского "литера"). До литературы (по Бродскому) печать еще была в новинку и ассоциировалась только с печатным станком - инструментом для точной фиксации устно произносимого текста. Только после того как Новиков и его конкуренты превратили печатное дело в доходную промышленность, в русском искусстве назрела необходимость освоить слово по-иному. (В 1812 году комендант Москвы гр. Растворчин печатал уже массовые листовки, основанные на устных интонациях: когда существующую поэтику начинают применять в агит-листовках, литературе пора менять курс.) Да и в восприятии читателя уже стерлись приемы риторики.

Последнее подлежит уточнению. Если до третьей четверти восемнадцатого века мы можем говорить об относительно узкой и однородной русской читательской среде, то с дальнейшим развитием литературы читательство расслаивается. Собственно говоря, "развитие литературы" и означает, в первую очередь, не изменение ее в целом, а расслоение. Так, численно большая категория русских читателей, ориентировавшихся скорее на слушание или чтение вслух, чем на чтение про себя и для себя, просуществовала еще вплоть до тридцатых годов текущего века, то есть до тех пор, пока сохранялись семейные, а то и с соседями, чтения вслух при свече или лампе и, особенно, пока основной книгой оставалась Библия или

Четьи-Минен, то есть вплоть до ликбеза. Эту часть читательства не должно определять как отсталую и примитивную в эстетическом отношении, ибо порой ее эстетические критерии были очень изысканны, но, в отличие от "передовой" литературы, непосредственно восходили к древности. Это прекрасно иллюстрирует цитатой из Чехова С. Аверинцев:

В рассказе Чехова "Святой ночью" скромный послушник Иероним восхищается:

"Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него выходит плавно и обстоятельно! "Светопода- тельна светильника сущим..." - сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светопода- тельна! Слова такого нет ни в разго- воре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме сво- ем!.. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно бы- ло гладенько и для уха вольготней".

(...) в конце XIX века на берегах реки Голтвы среди самой серой обыденщины еще длился праздник настоящего эллинского витийства.:"

Только после ликбеза (ликвидации безграмотности), а заодно и ликвидации скромных послушников как класса, *аудитория* исчез- ла, только "читательская масса" осталась. Привычная дотоле прось- ба "почитать что-нибудь" сменилась просьбой "дать что-нибудь почитать".

Образованный читатель периода после листовок стремился к контакту с автором на более глубоком уровне. Это не значит, что звук покинул литературу вообще, в частности поэзию. Он несомнен- но остался, но перестал дублировать речевые интонации, как то: убеждения, восторга, сокрушенности, вопрошания, - а принял му- зыкальную функцию, не поддающуюся однозначной семантической ин- терпретации. И не то чтобы новое качество литературы отрицало старое - и в "Полтаве" и даже в "Медном Всаднике" есть отголос- ки ломоносовских од - но оды-то и автором произносились и чи- тателем читались наизусть или с листа вслух, а "Люблю тебя,Пет- ра творенье", при всем благозвучии, девяносто пять читателей из ста прочитывали глазами.

Разговоры об ораторском характере поэзии Маяковского в сущ- ности неверны. Здесь смешиваются разные вещи: Маяковский часто "исполнял" свои стихи и, кажется, делал это на уровне эстрадно- го мастерства своей эпохи (как позднее его эпигоны - Евтушенко, Вознесенский), но это факт другого искусства - театра. Сами тек- сты Маяковского (и эпигонов) неудобопроизносимы; чтобы оценить неологизм или составную рифму, надо остановиться, подумать и, возможно, перечитать. Поиски "речи точной и нагой" ведутся по правилам печатного листа прежде всего потому, что пишущий для печати автор сознает себя лишенным возможности проговорить что-

:"С. Аверинцев "Славянское слово и традиция эллинизма" в жур- нале "Вопросы литературы".

то быстрее, а что-то медленнее, что-то проорать, а что-то прошептать. Если договор у тебя на книгу в 10 печатных листов, которые содержат, скажем, 30 тысяч печатных знаков, ты знаешь, что скороговорка не поможет тебе втиснуть лишний десяток фраз - метраж потребует сократить лишнюю тысячу знаков.

Поэтому первый постулат печатной поэтики - лаконизм. Ее требование - скрыть от читателя самый процесс поисков пресловутого "точного слова". Стратегия автора - средствами синтаксиса и стиля добиваться экономии слов. В идеале законченный текст краток и перенасыщен смыслами, как оракул. Этого добиваются, невзирая на риск прослыть эзотеричными. Не говоря уж о том, что эзотеричность, равно как и многозначительность, нетрудно фальсифицировать. Не говоря уж о том, что нередко добиваются прослыть эзотеричными. Или многозначительными.

Врождение основанной на лаконизме поэтики пришло в форме массовых тиражей. Массовый читатель массовых тиражей всегда инстинктивно стремится к облегченному восприятию, хотя и не оспаривает постулатов. Так, со школьных уроков наизусть он более или менее усвоил, что образы искусства синкретичны (много факторов сливаются в слово-образ), но вряд ли по этой причине он станет медитировать над Тютчевым или Ереминым, он лучше уставится в телевизор: там еще синкретичнее и труда никакого.

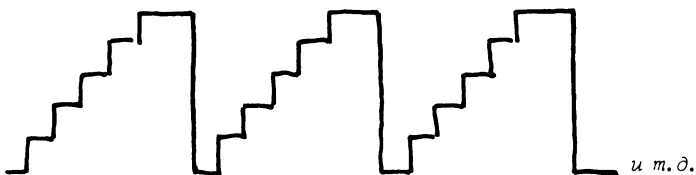
Все это я говорю не для того, чтобы дискредитировать Фета, Чехова или Маяковского. Для читателя просто культурного все художники и все эстетики существуют одновременно в сложных взаимоотношениях, но вот для читателя масс-культурного, то есть для читающего большинства, всегда есть "современная" эстетика, противопоставленная "устарелой" равно как и "авангардистской". И тут мы подходим к парадоксальному факту: подлинный поэт, поэт небывалый, поэт-новатор - плотью и кровью принадлежит именно плебейскому большинству, а не культурной элите, в большей степени любителям телевизора и хоккея, чем Телемана и Хокусая. Это происходит не потому, что Бродский недостаточно образован и его личные вкусы вульгарны; он прекрасно образован, а вкусы его требовательны и изысканны (хотя ни то, ни другое, вообще говоря, не является обязательным условием для формирования большого поэта); это происходит потому, что плоть и кровь его поэзии - живой современный язык и живая современная культура большинства людей, на этом языке говорящих.

Сто лет назад русская цивилизация еще вовсе осваивала гутенбергову эпоху, и литература откликнулась на это эстетикой лаконизма, но чуть забрезжил кризис печатного слова, как живая часть литературы ринулась в сторону непечатного (во всех смыслах) слова (во всех смыслах), к живой речи, полной повторов, избыточности, отступлений, уточнений, солецизмов, анаколуфов. Не Ахматова и Мандельштам, а Платонов, Зощенко, Цветаева - непосредственные предтечи Бродского, как и его старшие, хотя, может быть, и менее заметные современники - Слуцкий, Горбовский, Уфлянд, Рейн. Это не исключает огромного диапазона иных источников - от английских метафизиков до Беккета, от Державина до Мандельштама - но и усложненную метафорику метафизиков и ассоциативность Мандель-

штама Бродский лишь вводит в свою главную музыку - аранжируемое им современное просторечие.²²

Рассказывают, что по поводу стихов Бродского Ахматова произнесла высшую в ее устах похвалу: "Это ни на что не похоже!" Прежде всего это было не похоже на нее самое: основа ахматовской поэтики - подтекст, и отсюда немногословие, основа поэтики Бродского - иносказание, и отсюда обилие слов. Иносказания - это метафоры, ирония, намеки. Почти ничто не называется прямо, причем метафоры телескопичны: из первой выдвигается вторая, из второй - третья и так далее. Автор никогда не стремится представить текст как конечный совершенный продукт, где все на своем неизблемом месте, а представляет его как акт творчества на глазах (на слуху) у аудитории: как правило, он дает не одно точное слово, а еще и путь к нему, и варианты, и шутки по поводу (именно отсюда эти "не столько... сколько..." и тому подобное). К такому стилю легко было бы применить традиционные определения барокко, если бы так же легко не отыскивались здесь многие черты романтизма. И реализма (что бы это слово ни означало). Единственное, с чем здесь нет никакого сходства, это классицизм, по разряду которого себя числит сам автор. Самая легкость применения к творчеству Бродского столь разных эстетических деноминаторов отменяет их применение. Остается лишь шутовское словечко поэта "баракко", применение которого оправдывается опять же мощным элементом простонародного языка и мышления в стихах Бродского.

Сказанное не означает, что категорические высказывания и краткие и прямые описания отсутствуют у Бродского. Их у него даже много, по той хотя бы причине, что у него всего много. Как характерное обстоятельство можно отметить, что краткие, категорические и прямые формулы почти всегда занимают в писаниях Бродского место в конце - в конце прозаического периода или поэтической строфы. Такое построение легко изобразить диаграммой, где ступенчатое восхождение будет означать конвергенцию иносказаний, а короткая прямая - заключительное высказывание.



Всякому, кому приходилось слушать Бродского, эта диаграмма запомнит еще и его постоянную интонационную схему при чтении своих или чужих стихов, или просто манеру Бродского говорить, или просто широкую лестницу, освещенную желтым петербургским солнцем.

²²Не к просторечию ли от изысканного лаконизма двигался под конец и Мандельштам?

СТИХОТВОРЕНИЯ



светлое воскресенье

Замечательно.
Очень?

Веселье
Суета и толпа.
Оствилье. -

Так во мне говорит
воскресенье
остановкою света во сне,
и в такие минуты безумья
и бессонница в пальцах слепа
и творишь не простое раздумье,
а пустого и "друга" - клопа.

Наша родина - мышь.
всемогите.

Как спокойно и тихо
мила.

Посмотрите, как движется в свите -
то, что нужно бы КВЕРХУ -
игла.

Посмотрите, как в сердце крадется
всепонятен и честен и мил -
то, что нужно, в НЕНУЖНО
всосется.

То, что нужно бы
к сердцу - ЗАБЫЛ.

Посмотрите, как движется шина
посмотрите как сел и свила -
эта сила и эта машина
головкою достойны ВОЛА.

Мы родились в кустах российский
всепонятья и близости к счастью.
Но какой-то съестной магазин
не кончает быть нашей частью.

Мы все время трудимся как ВОЛ,
поставляя селений БЛОКА,
доставляя и губы и ствол
до рогов теневого урока.

Наша родина - мышь
россиян.

Каждой вещи, живущей на свете,
может быть может есть может зван
на каком-то унылом банкете.
Расставляя селенья селед
и ругая малышкой верзилку,
мы порою не чувствуем лед,
и душа превращается в вилку.

И скрываясь от сути вещей,
спотыкаясь на каждом паркете,
мы летим мимо гроба и щей
к достижимой ли силой планете?
И всегда оставаясь внизу
дожидаясь последнего срока
слышим крик, видим тень - "Я ВЕЗУ"
от рогов теневого урока.

Наша родина - мышь
россиян.

Каждой вещи живущей на свете
может быть может есть может зван
на каком-то унылом балете,
где работая ножкою сил
и мушиной командуя ротой -
говорят, что себя удивил,
если умер за счетной работой.

Есть иные пути - не расин.
А божественной волею - РУХА.
Чтобы в мелочи счетных машин
победило присутствие духа.
И не пуля, а легкий станок
отнесен в исполнение приказа -
небольшой теневой руконог -
и сойдет для мушиного глаза.
И ногами идя на бульвар -
обманув ли - да есть они - власти -
всемогущим движением шар
выпускаем мы душу на счастье
и парит голосами земли.

И отдельная в милях свобода -
все само для пилота нашли -
Хорошо - высоко - всепогода.

Как с тобой мы счастливо шли
в этот миг птоломеева года -

и летит, закрывая вдали
небозримую вечную свода.

1959

легенда

Багровый цветок кирпичика
Сегодня приснился мне.
Окна восковое личико
Со мною наедине.

Пока за оградой стелется
Тугая как нить луна
И песню свою погорельцы
Раскладывают у окна -

Безумная, неомыта
Тоска моего греха -
Я встретила инвалида
Под дикий крик петуха.

Не зря по ночам я плакала.
Из рощи не выходя,
Сам Бог протянул мне яблоко
Теплое от дождя.

Белесые звезды акации
Пылали над землей.
Когда он ушел на станцию -
Меня отвели домой.

И злобно соседи лютые
Подсматривают из-за угла -
Как я накормлю малютку -
Ведь грудь моя так мала.

* * *

Тупа душа,
когда она впотъмах.
Не видит глаз.
И в уши давит страх.
И все цветы и лица -
все, что рядом -
заводишь вверх, под веко
тяжким взглядом.

И кажется, что там,
под лбом,
на яблоко глазное давит дом.
И думаешь:
"Когда усну,
когда столкну
я эту тяжкую ночную пелену".



* * *

"Лукреция - Ландскнехт"
ее называл я порою.

Бидон вместо бедер скрывала ль она под полою
иль мазала плечико розовым маслом, бока,
но только казалась здорова она и крепка.
До ног с головы отшлифована сталью, как Зигфрид,
она наводила порою на странные мысли:
- Студентка ли это?
- Солдатским не двинется ль маршем с носка?
Упруго пружины подняли головку соска.
И мерно кивая с надменной и гордой улыбкой,
она занималась какой-то заморской читкой.
Склоняясь над книгой
с презреньем,
как рыцарь над стиркой,
она по-немецки шептала слова -
О, Зигфрид, ты слышишь -
Брунгильда жива!

начиная с учительницы

Ленивое тело, нагое бедро бегемотихи,
у груди волчицы, кормящей Ромула и Рема,
собрались морщинки тетрадок, а черные ботики
еще оттеняют уставшие за ночь колена.

Проклятие здесь. Оно нависает над городом.
Еще астронавты прельщают нас скорым скольжением,
но как палачи, они стали отращивать бороды
и каждую вещь наделяют заплочным движением.

Когда ученик в пионерском ли галстукe, девочка,
ложатся со стоном смертельного, сладкого плена,
вы скажете, вирус какой-нибудь снова там, мелочи,
а томная тяга в коленях - болезни колена?

Кто знает, быть может - молчат доктора на безлюдьи,
стоят в кабинетах шкафы, застекленные твердью,
в них тонкие жала ракет, серебристых орудий,
самую землей напоенные легкою смертью.

Кто-кто там стучится, мукою плохого помола
посыпав дома, города занесенные, вети -
а женщины бледные ждут рокового укола -
эмалированный таз, на коленях белесые плети.

Декабрь 1957

* * *

Кто там с лицом побелевшим немного, стаканом,
всей грудью копий к столу наклонясь полупьяно,
на розовой губке подушкой пены слова:
"Смотрите, как пью я, как много, но всетки жива".

Сама как бочонок, еще не остывшая брага,
в глазах молодецкая удаль светится, отвага,
на каждой щеке расплывается розовый мак,
и глядя на это гуляет и пляшет кабак.

Последний пропойца, пригнутый к столу, как креветка,
ее называет спокойно и радостно "детка".
Ее же - одетый на голую ножку чулок
тугою трубой в пространство ведет, в потолок.

Так пьют астронавты, что космос души одолели,
немые, кривые, косые, от браги еще окривели,
вперед направляя зрачков своих звездные корабли -
а "детка" тугою планетой им блещет вдали.



ПРОЛОГ К ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ

Вот форточка в мир,
где пространства, быть может,
немного больше, чем в вашей душе.
Вот форточка в мир,
где любимого ложе
и сам ваш любимый из папье-маше.

В наш век электричества, атома, газа,
быть может тогда и найдете покой,
когда совместите картонную вазу
из этого мира с живую душой.

Вот ниточка в мир,
за нее поведите.
Колодец, предгорье, ночной перевал,
но знайте, что вам по пути вашей нити
мешают границы, мешает обвал.

И если в конце опереточной сказки
поймете, сравнив с дорогим образцом,

что хоть волосок той искусственной маски
не совпадает с ее лицом,

Ну, что ж, поверните обратно, искатель:
заклиненный месяц, облупленный дом.
И даже пшеничный колосс на плакате
покажется вам водородным грибом.

* * *

Кто не хочет блеснуть:
высоко подымается дым,
глядя на это, быть летчиками
хочется молодым,
но я стараюсь шагать
такой теневой стороной,
чтоб в сумерках богом стать
с длинной, как дым, рукой.
Из дерева щели в небе
ловя необычных крыс,
бледной личинкой летчика,
выхватив, бросить вниз,
а девкам задрать пространство
с голых колен на грудь -
Боже, как сладко радостно
второй головой блеснуть.

Декабрь 1957

* * *

Отражаясь в собственном ботинке,
Я стою на грани тротуара.
Дождь.
Моя нога в суглинке -
как царица черная Тамара.

Зонтик разрывается гранатой,
вырастает водородный гриб.
В пар душа -
как тяжела утрата.
В грязь кольцо -
должно быть, я погиб.

Но как странно -
там, где я все меньше,
где тускнеет черная слюда,
видеть самого себя умершим
в собственной ботинке иногда.

* * *

Его повстречал я в начале недели.
Зима началась. Деревья редели.
Идет грузовик. И рядом несут
Уравновешенный прут.

Какой идиот захотел насмехаться,
Неся этот шест на обломке пальца.
Что он, подлее или лучше нас?
И я познакомился с ним тотчас.
И он проводил меня в отчий дом,
Неся на удилице небо.
И рыбою небо свивалось на нем,
Указывая дорогу
Этому странному богу.

Был стен штукатуркой очерчен пол.
Вот здесь - показал он - стоял мой стол,
Тут наша кровать стояла,
Но день этот, видно, уже прошел -
Ни друга, ни одеяла.

Таким, говоря, он остался в глазах,
Ни дров, ни заботы, ни счастья в углах,
С ним женщина чья-то недолго жила.
Теперь он один что делая?
А комната белая белая.
Второй раз пришел я - не встретил никто.
На белой стене коченело пальто,
Да сверху в квартиру стучит долото.
Ах где же мой бедный скиталец?

Лишь крюк. Да веревка свисает с крюка.
Ее продолжением чья-то рука.
Да что там - дорога ее недолга -
Повесился, знать, постоялец.

* * *

Вы умерли.
А мы не умирали?
Вы помните, как я смотрел на вас -
Вы или Я
там, на экране клейком
рентгеновский мальчишка на скамейке,
Рентгена подмигнул нам темный глаз.
Кто умирал?
Мы думали про вас.

Но вот опять знакомая походка,
по-над листвою проделанная четко.

И поступь рук по воздуху низка
и театрален ваш носок виска.

Асфальт, пробитый театральной тростью.
О, мне знакома ваша СТЕК и поза.
Она ведет к колесам паровоза.
Но до фабричной рамы не найдясь,
порвалась опереточная связь.

И я один.
Рука пуста, как солнце.
Что я сжимал?
Какой-то мандарин?
Простреленное девочкино сердце?
Какую-то песочную бумагу, похожую на тлеющую руку?

Что я сжимал?
О, Каинов прищур -
пустое дуновенье старой лампы.
Что я сжимал?
Какое-то ничто.

Темнеет.
Движет кубатура тени
фальшивые шаги.
На них ступени.
И понял я,
что жизнь моя мала.
Что главное для жизни -

ЗЕРКАЛА.

Чтоб видеть самого себя до тла.
Чтобы ничто вам руку не держало.
Чтоб ваш же воротник принадлежал вам.
Чтоб были вы друзьям своим видны.
Чтоб ваш двойник
не вышел из стены.

* * *

Я спешу.
В чемодане этом,
подаренном мне моей женой,
шесть патронов с чудесным пистолетом
окрыжены тканью шерстяной.

Ведь не здесь,
не в городской больнице,
не в читальне,
а на юру
доворачивает солнце спицы.
Так и я -
за городом умру.

За билетом прихожу я рано.
На билет обратный денег нет.
Не стучит о крышу чемодана
в шерстяной обертке пистолет.

* * *

Ваше тело не чувствует холод
под ногами сверкающих плит
и спокоен и честен и молод
занимает меньшей габарит.

То, что утро его не видало,
то, что песни его не растут
и смешно топорщит одеяло,
где руки выскользнет сосуд.

И не нужно вина купидора,
а для тех, кто остался в пыли.
И проносится тенью планера
над собой же овражек земли.

Взгляд назад, в интроспекции, уже,
там, где время, собой становясь,
словно цепь телеграфную, в лужи
окунает сардинную связь.

То, что утро есть сон невидимка,
то, что вечер уже наступал
и последняя грампластинка
раскрошилась в груди одеял.

Караульные виденный след
занесли в Е - тостопный журнал,
и устало примолвил сосед,
что сегодня его не видал.



АВТОПОРТРЕТ

Кто там с прелестной фигурой
и некрасивым лицом,
в белой матросской фуражке,
как девица под венцом.
Кто это правит яхтой
с названьем "Склизкий Омар"
с такой молодой фигурой
и только душой стар.
Знаю, он видел много,
видел и нас с тобой,

видел страны Востока,
тюлений кровавый бой.
А ныне Педро-развратник
храбро отвозит в бар
душистый, чуть-чуть стеснительный
бледнокожий товар.
Девушки, чередуясь,
требуют Педро к себѣ -
сладко отдать невинность
смелому капитѣ.
А он, на мостике стоя,
так говорит всякий раз:
"Девочки, милые, рад бы,
да не могу - заказ".

* * *

Кто, кто несется кораблем
По телу молодому,
Но, ах, без мачты не пристать
вам к берегу родному.
Но, ох, без мачты не пристать,
но, ох, без мачты не ласкать
вам берегов, Наташа.
Изнемогаешь ты в морях.

Дай помогу. Ведь я не враг.
Ну, что ж, круши, папаша!

Очерченный под животом
корабль, как лодка брака,
то книзу вверх,
то кверху дном,
то вновь фигура рака.
То кверху вниз,
то кверху дном,
то ножки врозь,
то волн содом -
то рыбаки живые
каленой мачтой ставят в нем
устои вековые.

* * *

пташка
рыжая дворяжка

это дробь двух колен.
Средь цифири в этом мире
тот же самый первозданный
Митрофанова плен.

На безгрешьи, на безбрачьи
(это зимняя юдоль)
все деревья многозначья
выстраиваются вдоль.

Два: рубашка ближе к телу.
К знаменателю дробя
подвожу трусов и тела
к телу ближнего любя.

Мне ее бистгальтер ясен -
100 со стоном. Инново
я не знаю. Мир прекрасен
вне решения его.

Сам я, кренделем милашка,
станем в фас - и 10 бал.

пташка - нерешенный интеграл.
рыжая дворяжка

линия горизонта

Инново - от иного и ново, то есть иного в новом.

Декабрь 1957



Муза

Сто лет на рубеже времен
летунья вечная парила
и шорох-плеск
и лист знамен
кому-то многу дарила.

Сто сорок лет она была
во всем немного виновата.
узовата.
Как Волен: слов слепые удила
в и: денььи
старого солдата.

Но к нам сошла она сама
мы в шкуру розу превратили
и на соврудии холма
шутили мягче
ели-пили.

И встал Суворов.
Вдоль степей
как вдоль: старик над сапогами,
блестя на рынку из очей
воспеть победу над врагами.
И он сказал:

весь этот мир,
все это прежнее искусство,

полночный шорох,
цвета свист,
мы скупо называем
скуство.
полнощный шорох
цвета слез
мы зкупо
называем скуство.

Как волен:
слов слепые удила
в у:деньи
старого солдата.
виденье:
слист.
слепые удила
в иденьи
всярого севрата.

(ψ - средняя
между l и C)

СОКОЛ-СВИДЕНЬЕ

Как скажу им
свиденье -
ни окон
в синераме
ни шеи ни мест -
безголовый
не ТО - Е-ЩЕ
сокол
провожает со света невест.

А свидетели ходят с визитом
то туда, то сида без конца -
то и то черной кровью покрыто
(но смывается тенью с креста).

И неведомо их отдаленье
и не слышен разбойничий свист
Я последним у ног
Поколенье
познает сосвиденье в лист.

И великая лебедь, синица,
мимо них пролетит в тишине
И неведома свету граница:
"Ах, скорее бы выпасться мне".

А свидетелей было немало.
Не хватило ни шеи ни смет

ОГОНЬ

На горизонте жилы след
Пока вильможно это - зила
Создав любви,
 семьи портрет
 себя до воли
 земелила.

Люблю, когда шумит огонь
И время движется лениво,
Когда над л(иго)м вьется конь
И золотой Сухэ-Батор
 летит со знаменем
 красиво.

И бьется и летит копьё
И время сизится уныло
И сердце движется - заняло
И лиро кажется лениво
И лиго ленится ретиво.

1962

г - английское произношение

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ Ф. СОЛОГУБА

Над смиренной Русской рожьё
Храм Вселенской созидай
Над Вселенской русской ложью
Храм Вселенской, путь русской.

Над смиренной зорклой рожьё
Луч расплаты зажигай
над свиренной тайной сожьё
роль расправы - путь людской.

Над смиренной лучшей ложью
лучший русской и грустайль
над свиренной тайной сожьё
Русской цыган - сам и князь.

1962

Велосипед

Какой-то английский художник худой прехудой
то в солнце стреляя дробинками каждого глаза
объездил следя то ночной за пастушей звездой
на байцикле мир на холсте и вселенную сразу.

Похожи на стулья стояли иные мирм
все время ловя белотелого сонного зайца.
Но вечен кто вешал в преддверии высшей дыры
свои золотистые в крапинку солнце и яйца.

А тот кто недавно провидел Британск и Музей
Двуглазой бациллы немного превидебыл тронут
Такого размера торчали глаза ему вслед
как будто на них продвигался не манумт так монумт.

байцикл - от англ. "велосипед"
монумт - от англ. "монумент"
манумт - от англ. "мамонт"

февраль 1958



АСТРЫ

Калитку тяжестью откроют облака,
И бог войдет с болтушкой молока.
Ты не потянешься, не ляжешь наповал,
Убитый тем, в чью душу наплевал.

И ты увидишь в бледном полусне:
Летя вразброд на вещем скакуне
В твоей спиной созданной ночи,
Мечта богов воплощена в печи.

Трубой замаскированный пилястр,
Там прокаженные лежат в коробках астр.
И зимний дом расцвел, и летний сад,
И жизни продолжается распад.

Сыграй мне, девушка, такое,
Чтоб ухватило за пилястр,
Чтоб прокаженной красотой
Душа была в коробках астр.
Чтоб оно выпало наружу
Расплатой тела на полях.
Душа моя, сыграй-ка мужу
На фортепьянных векселях.

Что для одних - победа ритма,
В другом - победа буги-вуги.
Но то же чувство, словно бритва,
Перерезает ноги-руки.

Писк жаворонка в небе, мыши.
В нас вырезается ограда,
И мы идем почти по крыше
В объятьях жестяного сада.

И как в театре нет предела
Явлению грома или прима,
Так в наших спинах солнца тело,
Похолодевшее незримо.

В глазах по чуду, по маньяку,
Какой-то дьявол в нас сидит.
И каждый ракурс вплоть до раку
На - растлевают - куст - раки.

И в этот миг в движенье сада
Намного мир и вещь и зрим.
И мы в тиши полураспада
На стульях маленьких сидим.

1958

ШВЕДСКИЙ ТУПИК

Парад не виден в Шведском тупике.
А то, что видно - все необычайно.
То человек повешен на кресте,
овеянный какой-то смелой тайной.

То, забывая бесконечный гол
в ворота, что стоят на перекрестке,
по вечерам играют здесь в футбол
какие-то огромные подростки.

Зимой же залит маленький каток.
И каждый может наблюдать бесплатно,
как тусклый лед виденья женских ног
ломает непристойно,
многократно.

Снежинки же здесь больше раза в два
людей обычных, и больших и малых.
И кажется, что ваша голова
так тяжела среди домов усталых,
что хочется взглянуть в последний раз
на небо в нише, белое, немое.
Как хорошо, что уж не режет глаз
ненужное вам небо голубое.

ФОРЕЛЬ

1

Форель разбивает лед,
глаза устремив вперед,
выкрасив бледный рот -
вперед мимо черных спин.
Рыбой во льду манекен,
люди ряды морен,

но ею ломается лед
мертвых окон, витрин.
В красном пальто идет
в снежную даль она.
Странно звучат слова
случайные Кузмина:
форель разбивает лед,
форель разбивает лед -
верность, цели, весна,
в новую жизнь переход.
Что же я так стою -
колебание и тоска -
бледные руки свои
сложив на пальто бока,
форель разбивает лед
форель разбивает лед
по знаку за ней вперед
красного плавника.
На пользу кому, зачем,
в какую еще страну -
туда, где от глаз лучи
сходятся в точку одну,
и ты не изменишь путь,
даже если нырнуть -
в нашей эпохе у глаз
только один конец.

2

Скоро уже ледоход.
Словно пустой эхолот,
я повторю за ним
в новую жизнь переход.

Из черных границ на льду
в белом моем пруду
форелью рванется жизнь
в новую пустоту.

Еще снежная лапа лежит
и весна не качнула весы.
Но каждый в пруду глядит
на золотые часы -

Форель разбивает лед
форель разбивает лед
горят на снегу слова
странные Кузмина.

В споре двух столиц – двадцать лет назад – стихи Станислава Красовицкого стали сокрушительным доводом в пользу Москвы. Северные поэты – кто восторженно, кто настороженно – остро восприняли их укорененность и в русской поэзии, и в атмосфере непарадной русской столицы. Их поразили удивительный синтез старых и новых влияний, от Державина до Заболоцкого, от английских поэтов 20 века до Крученых, и сугубо индивидуальное чувство атмосферы и мистики бита и Вития, сочетание элегии и гротеска, музыкальной энергии и прозаической иронии. Нынешние сорокалетние тогда только определяли себя как художники. Их обезоруживало и привлекало непривычное у сверстников свойство – свобода инверсий, необычность оптики, и главное, включение в поэтический код явлений литературно банальных, их драматизация и остранение музыкальной стиха. Двадцать лет – большой срок для поэзии, которая не знала типографии и эстрады, а жила в памяти ее поклонников. Публикуя без ведома автора некоторые из дошедших из самиздата стихотворений Красовицкого, редакторы хотели сделать подарок всем, кто любовно годами сохранял эти стихи, без которых, на их взгляд, уже трудно представить себе картину последних двух десятилетий русской поэзии. Это первая значительная публикация поэта. Впервые несколько стихотворений Красовицкого увидели свет в ж. "Новое" № 2 (Париж, 1978).

**рекомендуем
нашим читателям**



Юз Алешковский

**НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАСКИРОВКА**

Повести

Изд. "Ардис", Анн Арбор,
США, 1980, стр. 128

Заказы по адресу:

RTL/ARDIS PUBLISHERS,
2901 Heatherway, Ann Arbor,
Michigan 48104 U.S.A.

ШКАФ

РАССКАЗ

1

Я залез в шкаф.

Я с детства был хорошим мальчиком. Я был послушный, тихий, скромный. Я ни с кем никогда не дрался. Я всех любил, и меня все любили. Меня ласкали, и я любил эти ласки. Но больше всего я любил забираться в укромные местечки: в комнате, в саду, в лесу и т. д. Мне так было хорошо, когда я был чем-то закрыт. Главное, чтобы было закрыто со спины, а также с боков, или еще с головы, то есть сверху. Такую я ощущал тогда в себе тихую и непрерывную радость, можно сказать - счастье жизни, можно сказать - наслаждение (так мне и казалось при этом, что меня нежно и ласково кто-то гладит по голове заботливой и доброй теплой рукою), все равно, сидел ли я в поле, в лесу, под каким-то кустом или дома у себя под столом (ведь я был еще маленький и под стол мог "ходить пешком"), что это свойство во мне - любить укромное место - я довольно скоро в себе осознал, запомнил, поняв, что - и как много! - оно мне дает, стал считать его чем-то важным, не забывал никогда и потом, когда годы шли, и временами к нему возвращался.

Таковы были первые порывы моего детства. А годы, естественно, шли. Я рос, возмужал. Я окончил школу, потом институт. Пошел на работу, женился, потом родился сын. Жизнь шла все дальше и дальше, все вверх, все вперед. Жизнь была на подъеме и, казалось, становилась все лучше и двигалась к лучшему: я достигал, добивался, приобретал, все больше и больше, все новое, полезное, нужное. Я ощущал гордость за себя: вот я какой, вот как я делаю, вот как я могу! Я понимал свои победы, понимал, что я побеждаю, и после каждой следующей достигнутой победы я, очень естествен-

но, чувствовал удовлетворение. Так что нет, по-моему, ничего особенного в том - это тоже естественно - что однажды, пребывая в таком состоянии удовлетворения и довольства собой после какой-то очередной благоприобретенной победы, я вдруг остановился в какой-то момент и задумался. Вот, мне сейчас так хорошо. Почему бы не пожить в таком состоянии подольше? Почему бы не постараться продлить его как можно дольше? Вот, дело сделано, победа (очередная) достигнута, и я это чувствую. Но теперь-то я могу позволить себе чуть-чуть отдохнуть? Немного понежиться; пожить, так сказать, на проценты со сделанного; позволить себе тот покой и блаженство, которые только что перед этим были мной заработаны. А следующая победа чуть-чуть обождет. Без побед, конечно, не обойтись; но это все - дело будущее, это попозже, потом, через какое-то время, когда меня так уже подопрет и прижмет, что я необходимо буду вынужден снова взяться за дело и опять начать побеждать. А пока я еще подожду; покейфую. А пока я вот возьму - и попробую.

Я попробовал. Я залез в шкаф. Начав кейфовать, я, естественно, должен был вспомнить про свою любовь к укромным местам. Ведь если и кейфовать, так только в углу: в своем собственном укромном углу. Но главное даже не это. Именно, посреди всей своей недавней борьбы и побед, наслаждаясь ими и переживая их - свою борьбу и победы - какое ни большое удовольствие я от них получал, в глубине души я чувствовал, что кроме этого, живого и активного счастья, есть - и оно казалось мне еще большим, еще более прекрасным и недостижимым - то тихое, нежное и спокойное счастье из времен моего детства, когда я, ни с кем не борясь и не воюя, один забирался под стол. Конечно, сейчас я уже взрослый, а детство прошло. Я должен жить, работать, устраивать свою жизнь и жизнь своих близких - заботиться о семье: о жене и о сыне. Но так ли уж невозможно и недостижимо то мое прежнее счастье? Так ли уж невозвратно оно прошло?.. Сначала я еще ходил на работу - потом перестал. Потом я уже не ходил на работу, а выходил только на улицу. Потом я уже не выходил и на улицу, а сидел только дома. А потом и дома я, делая вид, что играю с ребенком, сидел обычно все больше под столом, хотя потом и этого мне стало мало. Я залез однажды в наш шкаф - ради эксперимента - и там мне понравилось, там-то я наконец чуть-чуть тогда успокоился, ибо все прежде мне было нехорошо и не так уж укромно. Так я оказался в шкафу. Везде, в любом мире, оказывается, есть свое (и его можно найти - тому, кто это может почувствовать) укромное место. Сужается мир, но и в новом, оказавшемся сужившимся, всегда можно отыскать свое укромное новое. И наоборот при этом: то, что раньше было укромным, становится миром, и мы живем там не очень-то иначе по сравнению с тем, как мы жили в мире прежнем, большом. В этом есть какая-то аналогия с тем, как нас настигают несчастья. Мы всегда, страдая по какому-то поводу, страдаем до конца, до краев, так сказать, абсолютно, совершенно всерьез. Переживая несчастье, мы заполняем страданием, вызванным им, полнотой, до всех наших границ, до пределов. Кажется, мы уже заполнены целиком, и в нас уже совсем не осталось какого-то свободного места, какой-нибудь щелочки или там уголка, куда бы мог-

ла поместиться еще одна добавочная порция страдания от еще какого-нибудь несчастья. Больше, чем мы страдаем сейчас, кажется, нам страдать уже невозможно. Но вот приходит какое-то другое очередное несчастье и - большее, чем то, которое до сих пор было у нас. Как мы тогда понимаем, что значит на деле - страдать! Как мы тогда мучаемся! Как мы проклинаяем себя, что, вот, были довольны своим прошлым несчастьем, думая, что больше терпеть его у нас нету сил, что больше нам с ним не жить, так же как и ни с каким другим несчастьем, и вот, накликали на себя еще большее, другое несчастье. Мы думали, что больше, чем то первое, нам быть уже и не может, а вот оказывается, пришло это, второе - и мы стали еще больше несчастны. Как быстро тогда мы меняемся в своих оценках, суждениях! Как нежно, уже почти с сожалением, начинаем мы думать о том нашем первом несчастье, вспоминая его. Да разве оно тогда было несчастье? Да разве тогда мы страдали? Нет, когда мы и страдаем, так это теперь! А тогда мы и не страдали совсем. Тогда у нас не было даже никакого несчастья. А то, что и было - было все только счастье. Да, мы радовались. Да, так хорошо жилось нам тогда - одно только счастье... Но это уже несколько посторонние мысли.

Так я зажил в шкафу. Конечно, все-таки это была довольно значительная внешняя перемена в моей жизни, и пусть я внутренне оставался все тем же, был все тот же тихий и ласковый мальчик, нежный, ласкающийся, который любит других и любит, чтобы любили его - все-таки, можно сказать, в какой-то мере для меня началась новая жизнь. Надо было как-то (с наименьшими издержками?) войти в эту новую жизнь - войти в ее ритм, так сказать, обтереться, привыкнуть. Был необходим какой-то переходный период - первый период вхождения и обтирания. В этом периоде, естественно, могли возникать свои небольшие конфликты - ломка привычного, утверждение нового, наконец, сама оригинальность идеи. Без них было бы не обойтись, это было неизбежно - и тут тоже надо было перетерпеть, разрешить, сгладить. Но все вышло довольно легко и естественно.

Жене и прежде всегда было все равно, что я делаю, лишь бы я был рядом, возле нее - вот, я с нею, я тут. А я, конечно, и при таком новом образе жизни был рядом и сейчас, может быть, даже больше рядом с нею, чем когда-либо прежде: я просто сидел рядом с нею в нашем шкафу. И она почти даже, кажется, не заметила, что вот, в моей жизни - со мной - произошла перемена. Она по-прежнему была занята-равнодушной, временами, когда считала, что это необходимо (а я уже умел узнавать, когда она это считает и когда этого надо от нее ожидать), была обязательно-ласкова. Но в основном с нею шло все легко и по-старому. Она хлопотала по хозяйству - этим она занималась всегда, бесконечно, и это-то, может быть, избавляло ее от всех лишних ненужных мыслей - заботилась о ребенке и обо мне, кормила его и меня и т. д. Конечно, тут был еще вопрос денег - фактор существенный, важный. Его не обойдешь и мимо него не проедешь. А на что будешь ты жить? Кто тебя будет кормить? И для того, чтобы все действительно шло легко и гладко по-старому и было, как прежде, я, как и прежде, должен был регулярно давать ей деньги. Но я это и делал. У нас, надо сказать, были кое-какие сбережения, причем именно я, в свое вре-

мя, приносил и откладывал эти деньги, и хранились они, по счастливому совпадению, в этом же самом шкафу: в углу, в специальной коробке. И когда очередная порция денег, которые я давал жене на каждые две недели, кончалась, она подходила ко мне и говорила об этом, а я, достав из коробки, протягивал ей новую сумму: почти что как в банке, как в сберегательной кассе. Ей это было, видимо, очень удобно - не надо далеко ходить - и она быстро привыкла. А мне тоже было приятно: приятно делать ей что-то хорошее, приятно вообще распорядиться деньгами (умело, с умом), приятно знать, наконец, что что бы между нами ни случилось и как бы мы с ней иногда ни поссорились, уж раз-то в две недели она обязательно ко мне подойдет - ее просто притянет сюда как магнитом. И так, жена, как и прежде, жила своей собственной жизнью, а я жил своей, но мы, как и прежде, жили с ней вместе и хорошо.

С матерью тоже все было довольно просто и хорошо. Мать есть мать. Я - ее сын. Я самый умный, я самый хороший и прочее - пусть даже это не так. Что бы я ни сделал, это всегда хорошо. Чего я хочу - то закон, и именно это надо всегда выполнять. (Я хороший и плохого, кстати, хотеть не могу). Пусть я сел в шкаф! Раз я это сделал, значит, мне это нравится, значит, мне это надо, и конечно же значит, что это все хорошо. Пусть она и не понимает, почему я так сел и зачем мне это надо. Это неважно! Она любит сына, меня, и значит, полюбит и шкаф, то есть меня в этом шкафу так же, как она любила меня прежде в другой моей жизни, потому что шкаф теперь - это я. Она любит меня на земле, под землей, под водой, на Луне. Она любит меня, что бы со мной ни случилось - побеждающего и побежденного, счастливого и несчастного, большого и маленького, женатого и разведенного. Она любит меня, одного, любого! Правда, я видел, что когда я залез в шкаф, глаза у мамы чуть-чуть потемнели: в них почему-то вдруг появилась печаль. Был даже в ней какой-то первый невольный порыв, который потом она в себе подавила, справилась (или он прошел сам): зачем я это сделал? Она стала больше меня жалеть, будто бы я стал вдруг несчастным, и вот, она не может меня не жалеть, теперь меня больше надо жалеть. Она смотрела так, будто бы боится теперь за меня, и я - должен бояться, но - чего мне бояться? И она тоже, вроде бы, стала почему-то несчастной. Но из-за чего? Она будто бы вдруг постарела, больше сгорбилась, еще чуть-чуть поседела, стала больше неловкой и боязливой в движениях. Иногда, сидя в шкафу, я слышал, как она плачет по вечерам, сидя в углу, стараясь сдержаться, чтобы я не услышал. Но, может быть, все это мне только казалось. И что это она выдумала вдруг про меня - я несчастлив! Наоборот, именно сейчас-то у меня и началась самая полноценная жизнь. Когда я достиг, наконец-то, того, чего всегда хотел прежде. Когда я, удовлетворив своей склонности, нашел наконец-то себе свое самое укромное место, то есть наконец-то удовлетворил себя до конца; отказавшись от всяких побед, одержал свою самую большую победу; стал, наконец-то, я - собственно я, отделив от себя все ненужное, лишнее и взявшись только за главное; стал я - полностью я. Мать плачет! Женщины, конечно, склонны к слезам. Они плачут часто, по любому поводу, из-за пустяков. А все-таки все - ей только кажется. Она только заби-

ла сама себе голову. Я несчастен! И чего только не кажется иногда материнскому сердцу или - любящему сердцу вообще. Как мы дрожим за предмет нашей любви. Какие страхи питаем мы за него. Как он нас непрерывно заботит, и мы хотим его оберечь, и готовы уже что-то делать для него и вместо него, конечно, по-своему (как хорошо, что тут мать для меня ничего не делала). Как мы пугаемся! Он живет, а нам кажется, что он непрерывно страдает. Он живет, а нам кажется, что вот, он сию минуту умрет. Да, мы любим, и право, чего нам тогда только не кажется!..

Но все-таки самый умный и самый чувствительный был среди нас, конечно, наш сын. Именно его-то я втайне всего больше боялся, когда садился в свой шкаф. И именно он-то, младенец-судья, вершащий самый справедливый суд и устанавливающий самую последнюю истину, подошел ко мне и прямо спросил - тот вопрос, который другие все обходили и так удачно, то ли из понимания, то ли из непонимания, уже обошли: "Папа, а зачем ты это сделал?" Ему одному, сыну, я видел, было стыдно, неловко. Вот я, отец - и сел в шкаф! Вот я, его папа, "мой папа" - и вот он в шкафу! Но я, конечно, не мог допустить, чтобы сын мой стыдился меня. Эта мысль для меня непереносима, а я человек нежный и не могу переносить долго то, что непереносимо. В такой ситуации я бы, конечно, не смог жить спокойно - даже жить вообще. И я быстро нашел к сыну удачный, мне кажется, и, пожалуй, единственно верный подход. Когда он меня снова (ему четыре года) как-то спросил, покраснев и отводя глаза в сторону: "Папа, а что это ты там делаешь?" - я ему, по наитию, сразу ответил: "А это, сыночек, такая игра...". И он меня сразу понял: да, это игра. Вот теперь - все понятно. Теперь можно жить дальше. Моя жизнь теперь, пусть и чуть-чуть измененная, чем была прежде, снова обычная жизнь, ибо, право, игра в жизни - вещь совершенно обычная. Просто у нас с ним появилась еще одна новая игра: "в шкаф". Раньше мы с ним играли "в бабу-ягу" и "в чудовище", "в бармалея", иногда - "в пароход". А теперь вот мы стали играть с ним еще - "в шкаф".

И опять все, вроде бы, пошло хорошо, все по-старому, все дальше и дальше, и лучше, и вверх, и - к все более лучшему. Я жил - ел, пил, спал, иногда понемногу работал, иногда развлекался. Опять, когда минуло упомянутое переходное время, наступил для нас всех какой-то период, когда все были взаимно-ласковыми, хорошими, нежными. Со мной были ласковы, и я тоже был ласков. Меня все любили, и я любил всех. Хотя я был внешне, можно сказать, отгорожен от мира и замкнут в своих четырех шкафовых стенах, общения мне всегда хватало. Оно у меня было, когда мне было нужно, и столько, сколько мне хотелось, а если его становилось в избытке и я утомлялся, мне стоило просто слегка прикрыть свою обычно - для воздуха - довольно широко раскрытую дверь. Жена, ближе к вечеру, закончив дела, вымыв руки, садилась напротив меня - на виду - на скамеечку, беря свое вязанье или шитье. Сидела, вязала мне шарф. Иногда взглядывала на меня, чуть-чуть иногда улыбаясь. Я тоже поглядывал иногда на нее. Мы обычно больше молчали. Иногда чуть-чуть говорили - тихим голосом, небольшими короткими фразами, после которых опять вступали в большие периоды молчания и углубленной задумчивости, у каждого о своем. Иногда она оживлялась и рассказывала, помоло-

дев, звонким голосом, что-нибудь веселенькое, интересненькое из того, что случилось с ней за день - или, вот, она от кого-то услышала. Иногда я оживлялся и тоже, в свою очередь, рассказывал ей, вспомнив, какую-нибудь смешную небольшую историю из своей прошлой жизни. Или - спрашивал ее про здоровье, как идет хозяйство. И тогда мы оба были еще больше довольны. Мы потихоньку смеялись. Я брал ее за руку и, притянувши к себе, целовал. Мы еще больше любили друг друга - еще больше были муж и жена. По ночам она забиралась, довольно часто, ко мне в шкаф, и мы там, осторожно, чтобы не стучать, не скрипеть, чтобы ребенок не слышал, совокуплялись для своего удовольствия...

Мать по-прежнему приезжала к нам, как всегда, раз в неделю, на воскресенье, занималась ребенком, помогала жене, посматривая при этом время от времени молча на меня (ну, как он там?), а потом улучала минутку и подсаживалась ненадолго ко мне, и мы, как это с некоторых пор уже вошло у нас в привычку, играли с ней в шашки: как в детстве. Иногда она, как бы между делом и незаметно, даже спрашивала меня прямо: "Ну, как дела?" Или: "Ну, как ты живешь?" И я, как всегда, отвечал: "Ничего, нормально. Ничего дела. Хорошо." Видно было, что ее - в глубине души - мучила та неминуемая беда, которая, по ее мнению, рано или поздно должна была теперь случиться со мной. И то, что эта беда все не наступала, мучило ее, видно, не меньше, и она имела все основания подозревать меня: думать, что я ее обманываю, что я от нее что-то скрываю и только лишь притворяюсь тут перед ней, делая вид. "Ну как, у тебя все хорошо?" - спрашивала она недоверчиво, все и веря и не веря мне. И я отвечал: "Да, у меня все хорошо". Если она после этого все-таки опять вдруг собиралась заплакать и доставала платок, мяла его и уже потихонечку плакала (но чему? чему? что она видела во мне сейчас такого, что не видел я сам? как мне было ее убедить, что я сейчас счастлив?), я на нее не глядел, отводил глаза, устремлял их в бесконечность, заговаривал о чем-то другом, прикрывал свою дверцу, а иногда даже, когда это мне, наконец, надоедало и она начинала меня раздражать, намекал ей более прямо, что ей, вот, может быть, было бы лучше посидеть немного в углу, и она тогда уходила в свой угол.

С тещей тоже было все нормально, все по-прежнему. Я и прежде с ней не разговаривал, а теперь мой новый образ жизни даже будто бы и оправдывал то, что я с ней не разговариваю, ибо затруднял еще больше какие бы то ни было разговоры между нами, если бы они вдруг начались и если бы я захотел с ней вдруг поговорить (чего, надо признаться, мне никогда не хотелось).

И, конечно же, все хорошо было с сыном: так, как надо, и даже лучше, чем прежде. Теперь у него была новая большая игра, в которую с ним играл папа. Игра непрерывная, всегда под рукой, в которой можно обратиться в любой момент, по желанию. И папа играл с ним не так, как прежде, - лишь урывками, от случая к случаю, по вечерам, когда он захочет. Нет, теперь он играл с ним все время, всегда. Вот это игра! У кого еще была хоть когда-нибудь такая игра? И у кого еще есть такой папа? Сына мой, конечно, теперь мною гордился: еще бы, у него такой папа. Сын приволил друзей из детского сада. Он им меня демонстрировал: "Смотрите,

вот у меня какой папа... Смотрите, вот где он сидит. Вот в этом шкафу..." Я, конечно, старался поддержать свою марку. Я выпрямлялся и взбадривался. Я делал ту наивно-глуповатую (или даже наивно-радостную?) физиономию, которую всегда обычно один человек делает почему-то перед другим, тем более, если ему от этого другого что-то надо или тот, другой, сильный, а он, первый, в чем-то слабее, когда подходит к нему, еще лишь приближается, чтобы потом заговорить, то есть устанавливает, так сказать, первый контакт. Он немного строит глупого из себя? Строит из себя дурачка? Чтобы не испугать? Чтобы произвести благоприятное впечатление, которое, первое, как известно, бывает решающим? Потому что дураки располагают к себе? Нам приятно, когда перед нами дурак, и сразу же хочется ему как-то помочь, для него что-то сделать? К тому же, дураки не опасны? Мы любим дураков? Мы к ним снисходительны, ибо, раз перед нами дурак, то мы, конечно же умные, и мы сильны, а он слаб?..

Дети разглядывали меня какое-то время: как льва в зоопарке, как шимпанзе. Им было, я видел, интересно. Они обменивались мнениями между собой. Они соглашались с сыном: "Да, конечно... Вот здорово! Такой большой папа и залез в такой шкаф... А наши папы такого не могут..." Они, я видел, завидовали моему сыну. Тайная гордость охватывала меня при этих детских словах. Вот я какой! Да, я такой. Вот как я могу! Вот что я умею! Как хорошо, что мне удалось, сделав что-то для себя, возвысить для них посредством этого и моего сына! А они, отвлекшись, тут же, возле меня, начинали играть. Сначала, под давлением сына, который все еще что-то хотел им показать, продемонстрировать и хотел убедить, хотя, казалось бы, уже все было показано, продемонстрировано, и убеждать уже было не в чем и некого, так как и так все были убеждены, - сначала еще немножечко "в шкаф", причем я тоже, конечно, бывал вовлечен в их игру, я им был должен подыгрывать, и я им подыгрывал, делая по их просьбе то или это, то, что им надо. А потом, еще больше отвлекшись, - в другие свои разнообразные детские игры. Живой детский клубок жил, вертелся, двигался, визжал, радовался, сворачивался и разворачивался возле меня. Я глядел на детей с удовольствием. Я сам радовался, глядя на них - за них и за себя. И дело даже не в том, что я с ними чуть-чуть поиграл, и мне это было приятно: вот так чуть-чуть поиграть. Я вообще люблю глядеть на детей. Я люблю детей. Я сам все еще немножко ребенок. И по-моему, это хорошо. Это все хорошо! И когда дети, еще больше отвлекшись, совсем увлеченные, уже совсем про меня забывали и убежали играть куда-то во двор, я, оставшись один, все еще сидел задумчивый, помня их: как они тут только что были. Помня, еще немного оглушенный и взволнованный ими, себя: каким я был при них, что при этом было во мне. И, вспоминая все это, я, тихо и про себя, чуть-чуть улыбался: вот, еще и это дано мне в моей теперешней жизни - иметь сына, иметь этих детей.

Ко мне, как и прежде, заходили друзья. Я, хотя и изменил образ жизни, все-таки не настолько его изменил, чтобы с ними порвать. Правда, я перестал ходить к ним и физически не мог теперь бывать у них, что, конечно, в какой-то мере влияло на нашу дружбу и вряд ли в лучшую сторону: наверное, как-то это их ущем-

ляло. Но друзья, верные, все равно ко мне заходили. Они обычно ни о чем меня не расспрашивали, вовсе не удивляясь, почему я сижу в шкафу, и не выпытывали, зачем я это сделал, не делали больших удивленных глаз и громких восклицаний, как это, пожалуй, можно было бы сделать, впервые увидев меня и такую неожиданную перемену во мне, и как это, может быть, сделал бы на их месте кто-то другой, кто мне менее друг. Нет, мои друзья мне были друзья. Им нужен был я, каким бы я ни был, а все остальное было для них гораздо менее важно, и вот я, пусть в шкафу, был для них, я был все-таки я, я - как прежде, почти как ни в чем не бывало, разве что в несколько по-иному оформленном виде. Мы тихо беседовали, мы говорили, как обычно, на разные темы, курили, чуть-чуть философствовали, иногда выпивали. Пьяный я, как обычно, чувствовал себя хорошо, и мне было приятно, что вот, у меня есть такие друзья: и они мне друзья, а я тоже им - друг. Мне тогда хотелось что-то сделать для них. Что бы сделать? Что бы мне сделать для них? Что бы им предложить? Но что, думал я, я, в таких стесненных условиях, мог для них сделать? Я видел, что, дружески отдавая им самое главное для них, то есть себя, я мог сделать только одно: предложить им тоже залезть ко мне, в этот шкаф, как ни тесен он был. Я пьяно думал: вот тогда-то мы всегда будем вместе и один для всех и все для одного. Я, какой-то последней трезвой частью ума, рассчитывал при этом: вот тогда-то наша дружба еще сильнее возрастет и еще больше укрепитя. Мы тогда еще больше станем друзьями! Они увидят тогда, какой я им друг. Я им докажу. Они поймут, на что я готов ради них. Вот, ради них я пожертвую половиной своего драгоценного шкафа. Конечно, с какой-то долей корысти, потому что от этого и мне будет хорошо, но также ведь, я думал, будет хорошо и им, а они заслужили, ведь они такие хорошие. Пьяный, щедрый и великодушный, я тут же переходил от мыслей к делу и, не откладывая в долгий ящик, делал то, чего в трезвом виде все-таки бы наверное не сделал. Я предлагал им: "Ну, давайте... Залезайте ко мне!.."

Но они, друзья, хотя тоже были пьяны и мне были друзья, почему-то, смутившись, отнекивались: нет, что ты, не стоит, мы не будем тебе мешать, как-нибудь потом, в другой раз, мы сначала попробуем сами у себя дома, немного потренируемся, и т. д. и т. д. Они придумывали самые различные предлоги, чтобы не залезать. Я, плохо их понимая, конечно, их не насилую - ведь они мне друзья (или: потому они мне и друзья, что я их никогда не насилую?) Как хотят, так пусть и делают. Лишь бы им было хорошо, а мне уж - ладно. Пусть я их не понимаю (а может быть: именно потому, что я их не понимаю), они мне друзья, хотя, конечно, они могли бы подумать и обо мне, потому что я тоже им друг. Я тогда, отступая, идя на уступку, все-таки хотел еще хоть что-то от них себе получить, если не поступок, так слово. Хотел, чтобы они меня похвалили, одобрили то, что я сделал. Я даже становился тогда чуть-чуть недоволен ими, что они, вот, придя ко мне и увидев меня в таком положении, повели себя как ни в чем не бывало - уж слишком, уже чересчур как ни в чем не бывало. Что они столь сдержанны (чтобы не сказать - законспирированы), будто ничего не случилось, хотя, конечно же, не могли не заметить мою

перемену. Да, надо быть сдержанным, но и сдержанность - в меру. А они ни разу даже не удивились, не ахнули, не сказали чего-то шутливо, не воскликнули: "как здорово ты это придумал!", тем более, что я в самом деле здорово это придумал, то есть не оценили меня, не отреагировали на меня по достоинству. Да, трудно жить одному. Нам всегда нужна реакция со стороны. Такой ответ внешнего мира на нас, как ни странно, оказывается нам тем нужнее, чем больше мы от этого мира отъединяемся. Казалось бы, раз мы от него отошли, то он нам и не нужен. Но нет: это только лишь кажется. В самом факте нашего отъединения от чего-либо подразумевается то, что мы должны иметь то "чего-либо", от которого мы отъединяемся. И тем более нам нужна дружеская похвала тому, что мы делаем. Тем более - отклик со стороны друзей. Отзыв, оценка. Дружеская реакция того самого внешнего мира, которая, право, не так уж и часто бывает дружеской. Да, я хотел, чтобы мои друзья меня похвалили. Я втайне был неудовлетворен, был недоволен ими: вот, еще друзья называются. Я плохо понимал, почему они, которые всегда прежде хвалили меня - безудержно, по малейшему поводу, так часто, что я даже иногда начинал сомневаться, что они мне друзья, пытаюсь давать им отпор в их похвалах, или, наоборот, обессилев, покорно склонялся к той распространенной и действительно, по-видимому, банальной мысли, что основанием любой дружбы является взаимная лесть - хвалили меня даже тогда, когда я делал плохое и меня не за что было хвалить, теперь, когда я сделал хорошее, меня почему-то не хвалят. Надо им намекнуть, думать я. Надо им намекнуть, что меня пора похвалить. В конце концов, ни одна самая крепкая дружба долго не выдержит без взаимных похвал. Надо их чуть-чуть подтолкнуть, даже, может, придумать.

И я им намекал, подчеркнуто усердно поглаживая ладонью лакированную стенку шкафа: "Вот, так я живу... Да, вот так..." Потом, отбросив свою обычную сдержанность, намекал больше: "Да, вот такой у меня шкаф..." И что-то, вроде бы, начинало брезжить для них. Они что-то, вроде бы, наконец, понимали, но почему-то смущались, опускали глаза и всё молчали, не в силах повернуть языком. Я тогда шел еще дальше, упрямо добиваясь от них того, что мне нужно. "Вот, смотрите... - говорил я. - Вот, какой *хороший* у меня шкаф..." Как они вцеплялись тогда в этот "*шкаф*" (вместо того, чтобы вцепиться в "*хороший*"), который я им подсунул, который я им все же всучил, пусть насильно. Как они вдруг сразу подхватывали тему и развивали ее, разражаясь, становясь неестественно говорливыми: "Да, какой прекрасный у тебя шкаф... Какой он старинный, красивый... Какая отделка... А полутона? Какой он весь лакированный. Как он блестит и т. д." Но, дураки, не шкаф мне от вас был нужен, а они так и оставались при нем, вертелись всё вокруг шкафа, делая вид, что вот, они меня поняли и сделали то, на что я им намекнул: вот, этот шкаф. И я чуть не плакал тогда от злости: да что мне этот шкаф!? Что мне ваш шкаф!? Ведь самое важное здесь это я, а не шкаф! Но большего я из них уже выжать не мог, тем более, раз они сознательно пропускали мои намеки мимо ушей, сознательно толкуя их чисто формально, и

явно сознательно отказывались меня понимать и делать мне то, чего я хочу.

Ну, ладно, друзья... Что я мог с ними сделать? К чему я мог их принудить? Тут нельзя принуждать, и то, что делается, надо делать самому, исходя из себя и без принуждения, так сказать, по любви. Но еще оставалась надежда - оставался еще один друг: друг среди друзей, так сказать, самый лучший мой друг. Я поглядывал - тихо, молча - иногда на него. И надежда сбывалась! (Вот, я думал, еще и это дано мне в моей теперешней жизни - сбываться надеждам.) Самый лучший друг оправдывал и свое название и мои ожидания. Посреди всего того шкафьего вздора, который все остальные еще городили тут возле меня, он, выбрав минутку затишья, даже без особого подчеркивания, так, вроде бы мимоходом, между прочим, спрашивал меня негромко: "Тебе тут хорошо?" И я (наконец-то дождался) волнуясь и так же тихо ему отвечал: "Да, мне хорошо". И тогда он мне говорил больше, немного пусть в сторону, но все-таки все как раз из того, что он мог бы сказать, а я был не прочь бы услышать: "А ловко ты это придумал. Как здорово это у тебя получилось!" И я, краснея, ему отвечал: "Да, хорошо". И тогда он спрашивал еще больше, самое нужное и самое главное, еще больше понизив голос, но все еще сохраняя ту интонацию как бы "между прочим" (контраст, который меня убивал, потрясая): "Ты сейчас счастлив?" И я, так же тихо, еще более тише, шепотом, еще больше волнуясь, с бьющимся сердцем и чуть ли не плача, отвечал ему: "Да, я сейчас счастлив..."

Да, вот так. Так это было... Были, конечно, и другие друзья, то есть даже уже не друзья, а просто товарищи (да они и бывали у меня редко). Они приходили ко мне не потому, что со мною дружили, а потому, что им обо мне кто-то что-то сказал, они про меня, вот, услышали и, вот, считали нужным меня навестить: удовлетворить свое любопытство, свою страсть к чему-то новому и необычному, привлеченные тем, что они услышали (вот, интересненькое), проверить, насколько правда то, что они услышали (соотнести, так сказать, общественное мнение с практикой, заодно сделав при этом и свои собственные какие-то выводы), заодно показать мне, какие они мне друзья, заодно, может быть, узнать для себя что-то полезное, обогатить кругозор и т. д. (вдруг и в этом есть смысл, который им удастся присвоить себе, и рано или поздно он им пригодится), а главное, заодно поразвлечься. Здесь, наверное, сказывается моя слабость характера - в том, что я их терплю, этих "друзей", этих товарищей - в том, что я их вообще у себя принимаю, хотя сам к ним никогда не хожу. Да, я терпелив и - до поры до времени - в какой-то мере податлив. Я тих и спокоен, внешне уступчив. Я сдержан, я снисходителен и великодушен, готов прощать и сам взамен ожидаю прощения. И, право, может быть поэтому, я сам тут виноват - многие принимают мою снисходительность за доброту, а мою уступчивость за дружбу. Я позволяю людям делать возле меня то, что они хотят, а они-то сразу уже из-за этого начинают думать, что вот, я уже с ними дружу. Они тогда распускаются больше, уже не только показывают себя, но предъявляют какие-то требования ко мне. Требуют, чтобы и я им себя больше показывал. Требуют, чтобы и я их любил, раз они, вот, так

сильно любят меня. Вот, они дружат со мной, так и я тоже должен поэтому с ними дружить! Они распускаются, расходятся больше, больше себе позволяют, еще больше лезут ко мне, опять-таки - со своими проявлениями их ко мне дружбы, требуя и от меня таких проявлений. И я, вот - сам виноват? - даю им и эти свои проявления. Я, слабый, и тут уступаю, чуть-чуть поддаюсь, поддакиваю им, чуть-чуть даю им то, чего они от меня добиваются. Но все это - до поры до времени. Право, это смешно: они прыгают тут возле меня и думают, что именно поэтому, потому только, что вот они прыгают - имеют свободу, физическую возможность - прыгать возле меня, которых я, кстати, им не давал, а они себе их устроили сами, то есть просто воспользовались теми свободой, пространством, которые принадлежат всем, и все ими пользуются, а потому они и ничьи, - они думают, что уже по одному этому они имеют права на меня: заимели их автоматически только лишь тем, что по своему желанию просто приблизились ко мне, и так как, таким образом, они мне друзья, а я им - друг, то я тоже должен тут прыгать вместе с ними и, вот, уже даже прыгаю для них и стараюсь (в своем эгоизме, конечно же, они думают, что все, что я делаю, я делаю только для них, и даже мое бытие вообще, по-видимому, имеет смысл лишь постольку, поскольку существуют они). Да, я слаб и раз-два позволяю себе иногда подпрыгнуть с ними вместе. Я, конечно, сам виноват. Я как бы их сам провоцирую. Я их ввожу в заблуждение. Но что мне до них? Какое мне дело до них? Мне ведь хватает моих друзей. Вам нравится прыгать, ну и прыгайте себе на здоровье, но я-то совсем не прыгун, и никогда с вами прыгать не буду... Точно так эти мои товарищи разлетались ко мне - прыгающие, с любопытством меня разглядывающие, явно ждущие, чтобы я тоже подпрыгнул, и старающиеся не пропустить этот момент, самодовольные, веселые, ждущие спектакля, развлечения, бодрые, насмешливые, остроумные, заранее настроенные критически, настроенные поживиться за мой счет, прямо-таки клоуны, прямо факиры, ожидающие и во мне увидеть такого же клоуна. И как быстро они менялись, пробыв возле меня всего пару минут. Как быстро они понимали - по моему лицу, по глазам, по общей внешней повадке, по голосу и разговору, по всему моему поведению - что я немного не то, что им надо. Как быстро скучнели возле меня некоторые из них и, придумав какой-то предлог, почти до невежливости быстро прощались и уходили. Как быстро другие, кто еще оставался, становились серьезными: почти столь же серьезными, каков был я сам. Как они притихали, задумывались. Начинали говорить просто, умно и сдержанно. Грустнели. Отбрасывали прочь свое клоунство, критику и насмешливость. Как они тогда начинали интересоваться (я не скажу здесь: ценить) тем, что я делаю. Как сдержанно и благовоспитанно они начинали интересоваться деталями: а вот эта ручка зачем? а как открывается дверца? а как меня кормят? как поступает ко мне свежий воздух? Как даже они, мне просто товарищи, начинали считать тогда (пусть они этого не говорили словами, но я это видел), что все, что я делаю, - серьезно, нужно и хорошо и мой образ жизни - хороший и нужный. То есть и сам я хороший: как осторожно, будто бы я был драгоценный сосуд, они тогда ко мне относились. Да, все было именно так. Но я тут, кажется, немного отвлекся...

Так я жил в то время с людьми. Но кроме людей, у меня была еще небольшая надомная работа, которую я для себя сохранил и которой по временам занимался. У меня были также мои книги, пластинки, которые мне иногда, по моей просьбе, заводили жена или теща. Было непрерывное и тихое радио - громкоговоритель наш тоже висел на шкафу, и я, по желанию, его регулировал. У меня было все это, но у меня было также - когда все мне надоедало, не хотелось ни с кем говорить, друзья утомляли, с сыном играть не тянуло, книги читать было неинтересно и т. п., - было мое одиночество. Я мог, когда захочу, оставаться один, и тогда я просто бездумно, бессмысленно глядел на пейзаж, кусочек которого был мне виден в окне через мою полуприкрытую дверь - наше северное невысокое и неяркое солнце (ибо дело было зимой), голубые снега, всегда туманный у нас горизонт, черные черточки деревьев, пересекающие его, дети, собаки, отдельные лыжники, отдельные гуляющие пенсионные дамы, торопящиеся куда-то мужчины и даже отдельные, быстро пробегающие в поле зрения, стройные и симпатичные подвижные девушки. И снова - снега, горизонт, солнце, небо. Так что вот, даже сидя в шкафу, я, по желанию, общался с природой.

2

Но потом я постепенно заметил, что и эта моя такая хорошая новая укромная жизнь постепенно начала портиться и опять мне становится в ней все не то, все не хорошо, все не так уж укромно. Постепенно появились неожиданные неприятности, о которых я прежде и не думал, что они могут быть. Мы все чаще и чаще стали ссориться с женой. Я, вообще-то, не умею ссориться. Ссориться - значит говорить пустые бессмысленные слова, слова без сути и истины, говорить которые мне несвойственно, главное назначение которых - лишь бы они задевали другого и причиняли ему боль. Эти слова - не для того, чтобы выразить мысль, передать какое-то знание. То есть они передают человеку, которому говорят, то знание, что мы сейчас раздражены против него, но разве это знание достойно истинно слов? Они - булыжники, которые мы кидаем друг в друга, выискивая уязвимое и больное место, радуясь, когда нам удалось туда попасть, и тем больше чувствуя в себе удовлетворения, чем больше при этом мы причинили боли. Эти слова лежат в каком-то верхнем, поверхностном слое, ничего не имея общего с истиной, не служа ей и ее не касаясь. В некотором роде они, таким образом, ложь, а мне всегда трудно лгать, я человек искренний и могу притворяться лишь на короткое время: сам потом объясняя свое притворство, я все свожу к шутке, то есть я, таким образом, только умею лишь понемногу шутить. Правда, мой сын подходит ко мне иногда и, как всегда ухватывая суть и беря быка за рога, говорит: "давай спорить". И я тогда спорю с ним: "Это ты Мишка". - "Нет, я не Мишка, а книжка". - "Нет, ты не книжка, а Мишка". - "Да нет, это ты книжка, а я Мишка". - "Да нет, нет, я книжка, а ты Мишка!.." и так далее, до тех пор, пока мы совсем не запутаемся кто - кто, и нам приятно запутываться, тогда-то мы довольны и рады, наконец-то достигли цели, когда получилась

бессмыслица, наконец-то поняли друг друга, объяснились, договорились, пришли к соглашению: и сын мой доволен и визжит от восторга, и я тоже радуюсь, непонятно чему, хотя так и не могу здесь понять, почему. Кстати, я вообще не умею договариваться и объясняться. Мне все кажется при этом, что такие слова пустые, то есть они - тоже ложь и неистина, в которую, высказанная, превратилась истина, бывшая в уме. Я лучше молча стерплю, чем начну объясняться, прояснять недоразумения, спорить, доказывать свою правоту, убеждать в чем-то другого, выяснять обстоятельства. Вероятно, это не совсем хорошо. Невыясненность при этом накапливается и тоже, со своей стороны, способствует ссорам, тем более, что и моему терпению тоже, как и любому другому, рано или поздно приходит конец, и тогда я ссорюсь. Все в жене меня теперь раздражало. Любые мелочи, любые слова, которые мне почему-либо показались неловкими, то, как она ест, пьет, стоит, сидит, одевается, то, что она делает и чего не делает, то, что она вообще рядом, вот, существует. Я ссорился безудержно. Малейшее ее сопротивление приводило меня в бешенство. Я требовал абсолютной покорности, мне нужна была только победа над ней - над нею, над моею женою, слабой, любящей, беззащитной и пр. По ней, по такому крохотному воробью, я стрелял из самых тяжелых своих пушек. Не умея ссориться, не в силах терпеть ее непокорности и, терпеливо и потихоньку сдерживая себя, выговаривать ей обидные слова по порядку, сначала - не очень обидные, а так, лишь чуть-чуть обижające, нудно поджидая при этом, пока она их прочувствует, пока их обида ее проймет, пока она на них обидится, пока они принесут ей свою тихую, в меру, боль, а я, значит, потом этой ее болью, тоже в меру и потихоньку, чуть-чуть нудно удовлетворюсь, я, насыщенный и раздраженный, не довольствуясь этим "в меру" и этим "чуть-чуть", отходил от постепенного нарастания тяжеловесности своих слов (если бы первые, менее тяжеловесные, на нее не подействовали), я сразу и молниеносно проходил все возможные в словах градации оскорбления и причинения боли. Через "отстань от меня, что ты ко мне пристала", через "дура", через "ах ты подлая гадина" - к самому последнему и самому главному тут, что еще можно выразить словом: "я тебя убью!" Но если и такие слова (а также битье посуды) на нее все же не действовали должным образом, я прибегал тогда к моему крайнему, бессловесному, но зато самому верному средству. Я выскакивал на минутку из шкафа и изо всей силы стучал ее по спине кулаком. Она вздрагивала, наклонялась, ударялась в плач. Я сам мгновенно смягчался и чувствовал вдруг такую усталость, будто бы меня тоже кто-то прибил. Но ее слезы были мне как бальзам на сердце: плачь! плачь! Разве что на самом исходе их я мог собраться, наконец, начать ее утешать. Я наконец-то удовлетворялся. Наконец-то я был счастлив, спокоен и мог снова жить дальше. Я - довольный. Я - одержал победу над нею. Но потом, как ни странно, хотя такие победы были мне несомненно нужны и я, вероятно, не смог бы и жить без них, я заметил, что каждая такая очередная победа опустошает меня. Может быть, наоборот, только поражение нас наполняет, а наши победы нас тратят? Мое удовлетворение становилось все короче и короче. Оно уже не приносило мне счастья, а все больше превращалось

опять-таки в непонятное постоянное и глухое раздражение, которое никогда не проходило, накапливалось, лишь иногда ослабевая, и таким образом портило мне жизнь снова. Я должен был в нем жить, но хорошо еще, что только в нем. На этом пути я должен был бы ссориться с женой непрерывно, ежечасно и ежеминутно, и ежеминутно ее ударять. Но разве можно так жить? Однако, повторяю, чем больше я ее побеждал, тем больше мне хотелось ссориться с нею, и я иногда всерьез обдумывал мысль: а не убить ли мне ее в самом деле?

Да, много непонятного и неприятного стало случаться со мной в это время. У меня явно портился характер и расстраивались нервы. Перед тещей, хотя я и прежде с ней не разговаривал, я замолчал уже совсем абсолютно: ни слова, ни звука. Я стал груб с матерью, злился, когда проигрывал ей в шашки, комкал игру, устраивал ей сцены, что она нечестно играет, сам чуть не плакал и ее доводил до слез, прогоняя ее плакать в свой угол, что она и делала, не смея мне перечить. Потом мать заболела или сказала больно и перестала к нам приезжать. Сына я тоже прогонял теперь от себя, не желая больше играть с ним ни в какие игры (мой шкаф - совсем для него не игра, он вообще не игра, и нечего детям вмешиваться в дела взрослых, в которых они ничего не понимают), и сын тоже плакал теперь из-за меня ("Отстань от меня! И не плачь! Все равно я с тобой играть больше не буду"). Я запрещал ему теперь даже подходить к шкафу. Самый, повторяю, умный и самый чувствительный среди нас, он, несмотря на запрет, иногда все же останавливался возле меня, делая вид, что забыл здесь игрушку, какого-нибудь своего кота или мишку. Стоял, прижимая этого мишку к груди. Потом, присев на корточки, пытался им передо мной чуть-чуть поиграть - чтобы я видел, чтобы я тоже бы с ним поиграл, как прежде. И поглядывал искоса и временами на меня, потом говорил, выманивая меня, негромко, уже совсем не глядя на меня и опустив глаза к полу: "Хватит, мне надоело, папа. Нельзя же так долго играть... Нельзя же играть в один только шкаф!". И говорил потом совсем уже прямо: "Папа, вылезь... Папа, когда же ты вылезешь?..". Сначала я, бездумно и как бы замороженный, просто молча глядел на него. Потом я смягчился. Я не мог, конечно, долго сердиться на сына. Но что мне ответить? Что мне сказать ему? "Дурачок, - говорил я тогда, глядя его по голове. - Дурачок, ведь ты совсем еще маленький. Подрасти немного, тогда и поймешь. Когда вырастешь, тебе все станет ясно... Как же, - и голос мой, я чувствовал, начинал вдруг почему-то дрожать, а на глазах выступали слезы, - как же я вылезу? Если я вылезу, то как же я буду жить?.."

С друзьями я тоже стал раздражителен, резок и нетерпим. Я все время теперь был недоволен ими. Мои прежние естественные - время от времени - недовольства превратились в какое-то неестественное постоянное раздражение, постоянную направленность против них. Я ничего им не прощал. Я все чего-то требовал от них, чего они, будто бы, не могут или не желают мне дать. А если не желают или не могут, то какие же они тогда мне друзья? И они, в самом деле, стали мне меньше друзья и даже, оказывается, оказались вовсе и не такие уж мне и друзья. Они стали все реже ко мне

приходить. Некоторые перед этим поссорились со мной бурно и шумно (то есть и я тоже в момент этих ссор был перед ними бурен и шумен, что уж совсем было для меня противоестественно). Другие некоторые еще писали какое-то время письма, но я на эти письма не отвечал, и они один за другим переставали писать. Оставался только один - самый лучший мой друг. И он не покинул меня, он по-прежнему бывал у меня. Но как наши встречи с ним теперь отличались от того, что было прежде. Теперь нам не о чем было с ним говорить, и даже выпить совсем не хотелось. Мы молча сидели друг против друга, почему-то избегая встречаться взглядами, подчеркиваю много и яростно курили, не знали, куда девать свои руки, не зная, вот так соединившись, как нам разъединиться теперь, как прервать это наше затянувшееся молчание, чтобы он - полегче бы и побезболезненнее - смог бы уйти. "Да, вот так... - говорил он, наконец, глядя в сторону. - Такие вот наши дела", - уже не уточняя, *какие* это наши дела, хорошие или плохие, и говоря уже именно о *наших* делах, то есть не обо мне одном, как прежде, а примешивая сюда сознательно и себя, как бы для смягчения ситуации или для поддержки того, что я один, сам по себе, уже держать был бы не в состоянии. И, конечно, он не спрашивал меня больше, хорошо ли мне тут и счастлив ли я, словно он и так все знал сейчас про это, что надо тут знать, словно бы и раньше, спрашивая так, он спрашивал не потому, что не знал этого, а потому, что знал, что тогда мне нужно было, чтобы он это спросил, сейчас же - сейчас тут нечего спрашивать и нечего говорить об этом. И я тоже чувствовал, что не надо сейчас этого спрашивать. Я боялся, что он вот возьмет, да и спросит меня опять именно это. Я был ему благодарен, что он все же не спрашивал, а все время молчал или отделялся этим своим неопределенным "вот так". Но и молчать подолгу рядом - это тоже тягостно. Все-таки он, действительно, был самым лучшим мой друг. Я облегченно вздыхал, когда он наконец уходил, посидев совсем немного. Когда он наконец поднимался, говоря: "Ну ладно. Мне еще надо сделать то-то и то-то..." Вот тогда-то я снова был ему действительно рад и любил его опять, и очень нежно и ласково с ним прощался, давая ему понять, как я его люблю, и даже не опасаясь при этом, что он, увидев такую любовь с моей стороны, обрадовавшись ей, истолкует ее превратно, изменит свое поведение и станет чаще ко мне приходить или дольше сидеть. Нет, все-таки я знал его абсолютно и верил ему абсолютно. Все-таки он был самым лучшим мой друг, и он всегда меня понимал, и сейчас тоже он понял меня...

Итак, я все больше отдалял от себя людей, так или иначе мне близких. Какое бы то ни было общение между нами становилось невозможным. Оно все больше меня утомляло, и я, естественно, от него избавлялся. Я стал консерватором, неврастеником, начал верить в приметы, мне начали сниться сны, сначала просто всякие сны, обилие снов, восполнявшее собою, видимо, недостаток впечатлений в моей дневной жизни, а потом - счастливые сны, сны, где мне было так хорошо и где я бывал счастлив. Я просыпался, чувствуя в душе какое-то безотчетное счастье, но зная: да, вот, я был только что счастлив. И тут, видимо, собою, этим своим ночным эфемерным сонным и недействительным счастьем сны восполняли для меня

тот недостаток счастья в реальной жизни, который я - моя природа - теперь ощущал на себе ежедневно и ежечасно. Я догадывался, что мне нужно. "И этот нежный динамизм есть то, чего нам не хватает, - сочинял я в какую-нибудь хорошую философическую минуту в уме стихи, - с каких-то пор, когда, страдая, мы все живем, вцепившись в жизнь". Но не было теперь у меня этого нежного, мягко переменяющегося динамизма - жизни, событий. Были частые и грубые вторжения ссор с женой. Были навязчивые и глупые друзья, которые ничего не могут и ничего не умеют, и никогда не могут даже понять, чего от них хотят, никогда ничего не могут дать, а только берут и требуют, чтобы давали им. Была ледяная и молчащая теща, которую, хотя я и хотел и всегда добивался, чтобы она молчала, добившись, я именно за то и ненавидел, что она молчит. Была плачущая, страдающая, болящая мать, которую, конечно же, именно я довел до болезни, я погубил ее жизнь и, как мне ни жалко ее, продолжаю губить и сейчас. Был, наконец, этот глупый и несносный некрасивый и большеголовый ребенок, который жил тут своей собственной жизнью, требуя к себе внимания, и, играя и не обращая внимания на меня, так громко визжал, что я уже начинал невольно вздрагивать от его криков. И, наконец, сюда надо прибавить те маленькие трагедии, которые так часто для меня возникали, когда я, сидя в шкафу, отлеживал себе ногу или, повернувшись неловко, ушибал коленку или прищемлял себе палец, или жена подавала мне плохо вымытую тарелку, и мне хотелось швырнуть ее ей обратно (слава Богу, они меня еще кормили, несмотря на мои жесткие абсолютные требования к ним, что, правда, так и должно, конечно, было быть: вот, я и ссорюсь с ними, но и - пусть они меня кормят, ибо кормили-то они меня не за то, что я с ними не ссорюсь, а за то, что я - это я, что я просто есть), или кто-то что-то слишком громко сказал или слишком громко чихнул, или - включено радио, или - радио выключено, или - не погашен свет, или - плохо прикрыто окно и дует, или - на улице дождь, а надо бы, чтобы был снег и т. д., и т. д., - все эти бесконечные "или". Люди, все близкие мне, мои друзья и родные, все от меня отдалялись, и я должен бы был, пожалуй, страдать тут и бояться. Но я чуть ли не был доволен. Во всяком случае, я на это глядел равнодушно. Это был какой-то лавинообразный процесс: они от меня отдалялись, и я сам от них отдалялся (сам их от себя отдалял). Мне это - они, с ними - было уже, как кажется, и не нужно. Жена, наконец, опять занялась по хозяйству, совсем уж усердно и все больше на кухне. Причем я, как ни странно, совсем равнодушно слушал ее подозрительно долгие и чересчур оживленные разговоры там с нашим соседом. Шашни? Любовь? Ладно, думал я, мне все равно. И я действительно, немного послушав, стал равнодушен, хотя в самый первый момент меня и поразила эта удивительная всеядность жены, то есть, видимо, женщин вообще, которую я замечал за нею и раньше, чтобы не сказать - за всеми другими людьми, с кем когда-либо сталкивался, но особенно, именно, это было заметно на ней, и она не стеснялась мне, то есть еще живому своему мужу, ее демонстрировать, а точнее говоря, как бы совершенно равнодушно игнорировала меня. Вот, я был - и она была со мной. Я когда-то захотел на ней жениться - и она вышла за меня замуж.

Потом я захотел залезть в шкаф - и она тоже как должное приняла то, что я залез в шкаф. А теперь вот меня не стало, то есть "стало" гораздо меньше, чем прежде, и, видимо, меньше, чем чтобы она могла меня чувствовать, и вот она, тоже естественно и как должное, стала уже не со мной, то есть гораздо меньше со мной, оставаясь, однако, для самой себя все "есть" и "есть", вместо того, чтобы, как и я, тоже "не стать". Все-таки я примирился и с этим, преодолел свое первое впечатление, что мне было легко, и глядел на жену равнодушно, как она там крутит любовь. Так же равнодушно я слушал, когда мне сказали, что моя мать лежит при смерти: она серьезно больна и, наверное, скоро умрет. Равнодушно я глядел на тещу, которая мелькала тут иногда перед глазами. Так же равнодушно - на сына, на ребенка, когда он, ударившись, скажем, об угол шкафа, заливался слезами. Нельзя сказать, чтобы близкие - жена, теща - не пытались тут что-то сделать. Они тоже, пожалуй, уже понимали, что то, что творится со мной - это неестественно, плохо; это, пожалуй, несчастье, и так быть не должно. Они попробовали однажды что-то тут предпринять, со мной - и для меня, а в конце концов, и для них - что-то сделать. Конечно, они сделали все любя, по-родственному и - в меру своего понимания. Однажды, когда я спал, они, то есть жена, позвав моего самого лучшего друга, вытащили меня из шкафа и положили на диван, поближе к окну. Они стояли, вздыхали, радовались делу их рук, глядели удовлетворенно ("вот, дело сделано!"), говорили мне потом, что я спал спокойно и ни разу даже не пошевелился. А я, проснувшись потом, сразу же вспомнил, что мне снился какой-то самый хороший, самый счастливый, непонятный и сладостный, кажется, из моего детства, кажется, тот самый, повторяющийся через 3-4 года самый постоянный мой сон, перед которым все мои последние счастливые сны в шкафу были ничто. Вот, я такой маленький-маленький. Я сжался в комочек. Стал крошкой, почти невидимкой, подтянув к подбородку коленки. И я притулился, прильнул и затих в каком-то самом укромном месте из всех своих укромных детских местечек. Укромном сзади, со спины, и с боков, и сверху, и снизу. Мне так хорошо. И чья-то теплая добрая нежная любящая рука гладит меня тихо и ласково по голове, а я, такой маленький, так и живу, и живу, и все - счастлив. Я - счастлив! Я - самый маленький и самый счастливый...

Да, сон был хороший, и мне - во сне - помню, было так хорошо. Будто вернулись какие-то былые времена, спокойные, радостные, которых у меня, правда, никогда и не было, но нет, они все-таки были, были, и вот они снова вернулись. Но, проснувшись и осознав себя на диване, я снова - молниеносно, стрелой - юркнул в шкаф. Мне стало дурно. Я упал в обморок. Меня стошнило. Я издавал стоны, потом впал в истерику. Насилие мне так и не помогло. И родные, близкие от меня отступились, оставив надежды, оставив меня в покое, не повторяя больше подобного опыта. А мне это было и надо. Только покой - мой покой - мне был нужен теперь. Мне это было и хорошо, ибо я, повторяю, давно уже стал к ним ко всем равнодушен, а все потому, что и без того, и без них я жил до краев насыщенной жизнью и мне в моей этой жизни хватало мучений, чтобы я еще мог как-то мучить себя из-за них.

Да, жизнь, конечно, хорошая штука. Особенно в укромном уголке: уютно, тепло. И, залезая в укромный уголок, так и рассчитываешь, что он, именно, будет укромным - всегда или, по крайней мере, надолго. Рассчитываешь: вот я сам уйду от большой жизни, я сам себя перед ней убираю, сам делаюсь маленький, то есть еще более маленьким перед ней, большою, чем был прежде, и вот поэтому, уж теперь-то, когда я сам, то есть самостоятельно и без какого-либо давления, намека или угрозы с ее стороны, по своей воле себя перед ней уберу, уж тогда-то она меня не заденет и так и оставит меня, самого по себе, в своем нетребовательном и укромном покое. Но жизнь именно потому-то все-таки жизнь и именно потому жива - а мы ей живем, и мы тоже живые - что она, рано или поздно, задевает нас в самом нашем укромном, самом главном, самом нашем живом, чем мы еще живы. Самом последнем, что мы - от столь многого? почти от всего? - отказавшись, все-таки оставили себе, чтобы жить. Да, жизнь не проходит мимо живого, если оно только действительно живет, куда бы - в какое бы самое укромное место - оно ни укрылось. Да, я залез в шкаф. Я стал равнодушен к людям - к жене, к сыну, к друзьям. Но я еще все-таки жил. И потому жизнь, живая, меня не оставила, так сказать, не забыла. Она меня, как говорится, затронула. Она мне - живому мне - дала пожить, пусть даже другие про ту жизнь, которой я жил, могли думать, что я уже совсем не живу. Ведь жить - значит мучиться? А я уже мучился. Да еще как! Какими неслыханными мучениями! Хотя все, конечно, началось с пустяка, с мелочи и, как это обычно бывает, с удовольствия.

С некоторых пор у меня вошло в привычку машинально постукивать по стенке шкафа. Поев, скажем, расположившись удобно, думая о чем-то своем или не думая вообще ни о чем, а бессмысленно глядя в заоконный пейзаж, я своими изящными подвижными пальцами постукивал по дереву шкафа тот или иной ритм: та-та-та там или ти-ти-ти-ти и т. п. Иногда эти ритмы были совсем простые и однообразные. Опять-таки я, может быть произвольно, стремился восполнить ими тот определенный недостаток впечатлений и внешних жизненных раздражений, который естественно возникает при жизни в шкафу, этот своего рода сенсорный голод. Или, может быть, я ими себя успокаивал, но тогда - от чего успокаивал? Звуча подолгу и просто, эти ритмы проходили мимо моего сознания. Иногда же я, наоборот, оживлялся, я увлекался ими. Я их усложнял, из простых ритмов получались мелодии, из простых титата получались песни там или симфонии, и я их узнавал в этих ти-та-та, подпевая, - мои любимые мелодии из моей прошлой жизни. Я подпевал им все громче, подсвистывал. Я расхотелся все больше, в конце концов я пел соловьем. ("Наш-то, наш-то разошелся... - переговаривались тихо между собой жена и теща, поглядывая на меня с удивлением и какой-то надеждой. - Прямо как соловей".) Но тут, в апогее подобных занятий, так сказать на вершине экстаза, я стал замечать, что все чаще в мои прекрасные любимые мелодии вмешиваются, сбивая их с ритма и привнося свой чуждый им ритм, какие-то другие, немusикальные звуки. Да, на каждое мое музыкальное ти-та-та отвечает некий немusикальный такт или тук-тук. Они сбивают меня, они мне мешают. Они как бы

меня передразнивают. Они мучат меня, все эти тук-туки, так-таки, все эти скрипсы, скрапсы, скрупсы. Я понял: шкаф, старый, рассохся и теперь, проклятый, скрипит. Но ведь этого, наверное, и надо было ждать от него? Ведь он предназначен всего для одежды, а не для того, чтобы в нем жил человек? В конце концов, я для него перегрузка. Он просто не выдержал, наверное, тяжести моего - к тому же, живого, не неподвижного - веса?

Теперь вся моя жизнь была заполнена звуками. Только они были теперь ее содержанием. Я их наблюдал, изучал, классифицировал. Я их разделил, во-первых, на произвольные, которые я, пошевелившись, могу вызвать сам, то есть они, в какой-то мере, это был я, и непроизвольные, которые возникали независимо от меня, не поддаваясь никакому контролю с моей стороны. Именно эти последние особенно наглядно давали мне понять, что они - моя жизнь, что они - настоящая жизнь, потому что, как и любая другая жизнь, они, хотя я ими жил, были все-таки не во мне и не "я", а вне меня и "не-я", как это и должно быть с любой подлинной жизнью, кто бы ею ни жил. Во-вторых, я разделил звуки на громкие и тихие. Первые, прозвучав неожиданно, заставляли меня вздрагивать, в животе у меня при этом что-то проваливалось, потом, через некое короткое Δt реагировало сердце: сначала первым, бурным и самым сильным толчком, потом - двумя-тремя толчками потише и уже затухающими. Вторые, тихие, самые тонкие и едва уловимые, были, может быть, еще коварнее тем, что заставляли меня всего напрягаться, напряженно, приложив ухо к стенке шкафа, вслушиваться, следя их на пороге слышимости, отыскивая их и на этой последней границе, исчезающих, едва различимых, иногда просто кажущихся, то ли существующих, то ли несуществующих, действительных, а может быть и вообще не действительных, а воображаемых. Иногда они были поэтому для меня даже тогда, когда на деле их не было. Перед такими, тихими, звуками я был больше, конечно, бессилен, и они меня мучали больше. Ярость иногда охватывала меня. Со злостью я изо всех сил бил кулаком по стенке шкафа. Какая оргия, какая какофония звуков поднималась тогда мне в ответ! На мою силу они отвечали мне силой. Я ударял еще сильнее, я прикладывал силу больше, но точно так же возрастал тогда и ответ: он тоже был больше. Впервые в жизни наносимые мною удары не насыщали и не удовлетворяли меня. Впервые я не мог - силой - добиться победы, - скажем, как над женой. Ответ всегда превосходил меня. Он был сильнее, чем я. Ответ - была жизнь. И это было бы прекрасно. Жизнь прекрасна, и все в ней хорошо. Это так и должно было быть. Жизнь - сильнее. Жизнь - всегда сильнее, чем каждый из нас. На то она и жизнь: потому-то она и есть жизнь и потому мы можем жить ею. Мы - живы, живем, но если бы она вдруг оказалась слабее нас, мы не смогли бы жить вообще, мы, сильные, но ставшие вдруг поэтому слабыми и опустошенными такой фантастической внезапной абсолютной победой, победой над жизнью. Победить жизнь - не значит ли это: умереть? И не значит ли это также, что все прошлые мои победы были всегда чуть-чуть не победы, то есть всегда относительны, то есть всегда чуть-чуть поражения, раз я мог жить и одерживать их? И не значит ли это, что, чтобы жить, мы должны терпеть поражения, а наши победы нас губят? Как бы то ни было,

я жил, я был жив. Я был живой! Я не умер там в этом шкафу! Я в нем жил и, как прежде, был напряженно и полноценно и совершенно живой. Но все-таки как трудно иногда мне было жить, и какие моя эта жизнь мне доставляла мучения! Все это громкое и тихое, произвольное и непроизвольное, говорящее и шепчущее, поскрипывающее и постукивающее. А как я, начавший привыкать, пугался, если вдруг наступало затишье, звуки иррационально, вдруг ни с того ни с сего замолкали, и я, как ни старался, не мог их вызвать никакими своими усилиями - что это значит? что все это значит? Может быть, это надо объяснить так, что к нам пришел циклон, повысилась влажность, упало давление и старое дерево, умягчившись, перестало скрипеть? Но разве это давление? Ведь это судьба! И все эти мои сердцебиения, иногда даже обмороки. Мои бессильные и только изматывающие меня приступы ярости. Наконец, какой-то усвоенный опыт в виде инстинкта самозащиты: пытаться делать вид как ни в чем не бывало, говорить себе, что она, эта какофония, тоже мелодия, и пытаться отыскать в ней какую-то мелодию, потом пытаться не реагировать и не замечать. Пусть все проходит и все остается только в уме: пропустив все мимо себя, ты спасешь себя и предоохранишь от разрушительного волнения. Но и при этом, как следствие может быть, самое большое мучение - эта работа ума, постоянно все наблюдающего, старающегося все знать, все изучать, все классифицировать, но никогда так и не преуспевающего в этом до конца, всегда неудовлетворенного и потому мучающегося и мучающего меня, всегда что-то знающего, но всегда - мало, и, при всем своем желании понять, всегда чего-то не понимающего. Да, ум мой непрестанно искал во всем этом смысл - в этих звуках. Смысл, который можно было бы обдумать, понять и - мучительно, если не понял. Но только он понимал один какой-нибудь смысл, как появлялся другой, непонятный, который еще предстояло понять, то есть тайна. Ум мой сходил с ума от обилия смыслов, перегружался непосильной работой. Я был окружен теперь тайнами на каждом шагу. Да, их было даже чересчур много для меня. Только я успевал разгадать одну какую-то тайну, как на ее месте сразу появлялась другая. Кроме того, тайны сами по себе были такие, в которых оказывался смысл, а были и такие, в которых и смысла-то никакого не было, но я все мучился ими, разгадывая их. Кроме того, соответственно звукам произвольным и непроизвольным были беспричинные тайны, от меня не зависящие, и были тайны другие, причиной которых был я сам. Да, я сам теперь, в некотором роде, был тоже тайна. Во мне самом был теперь постоянно некий потенциальный неразгаданный смысл. Стоило мне пошевелиться, двинуть ногой там или рукой - и сразу появлялась моя эта тайна, мой смысл. Во всяком моем движении - смысл. Во всяком моем слове (ибо шкаф резонировал) - тоже был смысл. Ни одного движения - без смысла! Ни одного слова - без смысла! Жили ли вы когда-нибудь такой жизнью? Доводилось ли вам так когда-нибудь мучиться?..

И я пытаюсь избавиться от всех этих смыслов. Это мне удается, и я не схожу с ума. Моя голова мне помогает. Она - мой ум - работает хорошо, как и прежде, и в конце концов перерабатывает все, что бы ей ни подсунули. Но я принимаю, кроме того, и другие меры. Я снова ищу себе укромное место посреди всего неукром-

ного в моем прежде столь укромном шкафу. И, как всегда, я его нахожу. Я доволен собой: вот, я справился и тут. Я опять-таки, пусть так, победил. Победил тем, к чему всегда тянуло меня. Отказавшись победить силой, я снова использовал свою укромность, и это мне помогло. Вот, снова все хорошо. Все устроилось. Жизнь снова прекрасна!

...Я вообще перестаю шевелиться. Перестаю говорить даже сам с собой, как это часто бывало прежде. Даже перестаю дышать, моргать. Я затаиваюсь. Я нахожу какую-то абсолютно нейтральную позу, какую-то абсолютно нейтральную точку в шкафу, при которой ничто и нигде не скрипит. И это мне удастся. Все тихо. Никаких тайн. Никакого смысла вне меня. Никакого смысла во мне. Я снова на своем самом нужном мне месте. Я счастлив. Я наслаждаюсь. Отдохновение! Благословенный покой! Тишина! И счастье! Да, счастье, одно только счастье и ничего кроме счастья!.. И тут вдруг я снова слышу: тук-тук. Что это? Я напрягаюсь; боясь шевельнуться, внимательно прислушиваюсь. Может быть, я немного сместился от центра, и мне надо поправить себя? Снова: тук-тук. И снова: какое-то тихое и непрерывное: тук-тук. Я слышу его и не могу понять, откуда оно идет. Нет, шкаф явно молчит, я сижу правильно, и все же оно есть несомненно. Тук-тук! Я не знаю, что мне делать теперь. Тук-тук! В отчаянии я судорожно сжимаю руки и вдруг чувствую, что в них, в концах моих пальцев, когда они наливаются кровью, пульсирует это же самое: это тук-тук. И я понимаю тогда: это - мой пульс. Это - стук моего собственного сердца. Но как же мне жить теперь с ним? Что мне сделать теперь с моим собственным сердцем? Как мне его заглушить? Как мне разгадать эту мою последнюю тайну? Как мне, снова несчастному, сделать себя снова счастливым? Как мне справиться с моим бедным бьющимся сердцем? Как мне лишить его биение какого бы то ни было смысла? Куда от него укрыться? Что мне еще предпринять? Где мне найти еще более укромное место?

31 дек. 1968 - 3 янв. 1969



Эдуард ЛИМОНОВ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Когда изящный итальянец
Вас пригласил на черный танец
Когда без умолку болтая
Он вел вас крепко прижимая
То мне подумалось невольно
"Как странно... Страшно. Но не больно"

А в зеркалах стояли розы
И серебро толпилось грузно
Сквозь музыки большие дозы
Вдруг кто-то всхлипывал арбузно

У вас под черным платьем грудки
Капризно-мелкие торчали
Он говорил вам нервно шутки
А вы молчали и дышали...

Американцы и лакеи
Ходили в разных направленьях
А я в божественных селеньях
Смотрел на геммы и камеи...

Вернулись вы. От платья ладан
Иль дым какой-то благовонный
И итальянец с вами рядом
Как будто замертво влюбленный

"Ну да. Жена моя. А что же".
Я подыму подол у платья
И покажу ему... О Боже
Коль буду в силах показать я...

Потом пойду спокойно к бару
Нальют шампанского мне люди
Я так устал. Я очень старый
Мне тридцать шесть уж скоро будет

Пойди найди меня и кротко
Целуй меня за синей шторой
Как девочка больна чахоткой
Целует куклу без которой...

* * *

В газетах опять о Вьетнаме
А я не пишу моей маме
И где потерялась жена
Которая нежно нужна

В газетах про рис и свободу
И о президентах народу
Сказавших прекрасные речи
Я кутаю тонкие плечи
В мой белый балетный пиджак
Ах скушно мне все это как!

Среди городского обмана
Вся жизнь как открытая рана
Встречаются женщин тела
Короткая нежная ода
Смыкается снова природа
И женщина тихо ушла

Как утро прекрасно и мутно
И мне беспокойно уютно
Что я одинокий такой
Что эти печальные страсти
Меня разрывают на части
И бездна свистит за спиной

Какое холодное небо!
Хотя на земле и жара
И в поисках крови как хлеба
На тело летит мошара

В возвышенной нашей печали
В погубленной нами любви
Мы сами себя не узнали
Убили и в грязь затоптали
Прекрасные лица свои

Я стал настоящий мужчина
Ты - женщина с легким хвостом
Но только меня половина
Регалии блудного сына
Забыто лежат под кустом

Потери! Потери! Потери!
Предчувствий трагических дрожь

И верю тебе и не верю
Как страшному дикому зверю
И правдой мне кажется ложь...

* * *

Дорогой Эдуард! На круги возвращаются люди
На свои на круги. И на кладбища где имена
Наших предков. К той потной мордве. К той Руси или чуди
Отмечая твой радостный праздник - война!

Дорогой Эдуард! С нами грубая сила и храмы
Не одеть нас Европе в костюмчик смешной
И не втиснуть монгольско-славянские рамы
Под пиджамы. И не положить под стеной

Как другой океан неизвестный внизу созерцая
Первый раз. Открыватели старых тяжелых земель
Мы стоим - соискатели ада и рая
Обнимая Елену за плечиков тонких качель

О Елена - Европа! Их женщин нагие коленки
Все что виделось деду-прадеду-крестьянам. И мне
Потому глубоки мои раны от сказочной Ленки
Горячей и страшней тех что мог получить на войне

Я уже ничего не боюсь в этой жизни
Ничего - ни людей. Ни машин. Ни богов.
И я весел как скиф - хохоча громогласно на тризне
Хороня молодых. Я в восторге коль смерть прибрала
стариков!

Прибирай убирай нашу горницу - мир благовонный
От усталых телес. От измученных глаз
А когда я умру - гадкий подлый безумный влюбленный
Я оставлю одних - ненадежных растерянных вас...

* * *

Геринг дает пресс-конференцию в душном мае
Победившим державам
Чьи корреспонденты гордо выпытывают его

В маршальской фуражке
В кресле поставленном прямо в траву
Ботинки у Геринга в траве утонули
Тяжелый микрофон старого стиля стоит на низком столе

Буйствует зелень на заднем плане
Ломит и прет уже побеждая войну
Горячо и жарко
И Геринг держится грустно

Победоносные прошлые лета
стучат сапогами в его голове
(А также любовницы, жены и ветви цветов и деревьев
июли и августы и на оленей охоты)...

Упрячут опять от зелени в темный угол
Геринг не Геринг...

.....
Стоят офицеры. Сидят.
Иные в касках. Другие в фуражках
Третьи подставили волосы ветру
Военные корреспонденты - грубые как слоны

Что они понимают
Что мы все понимаем
Простите меня за вмешательство - маршал покойный
Геринг

Однако я менее склонен сочувствовать голым трупам
Из другой фотографии - рядом в газете "Пост"
Чем вам - мяснику, негодяю, эсэсовцу, наци.
Чем вам - маршал Геринг
Который как будто причина второй фотографии
(я имею в виду голые трупы)

.....
Хорошо вот так вот
Войну проигравши
Сесть в старом кресле
Ботинки воткнуть в траву
Отвечать им негромко - корреспондентам
Устало как после работ землекопных

В мундире в шитье в этой вашей Герман фуражке...
Ну удавят-удавят
Зато как по Европе шагали...

На том свете наверное пахнет мышами
А погодка-то маршал ух как хороша хороша...

.....
И думал пахнут духами и потом слегка
Подмышки немецко-австрийских женщин
И возле Дуная и Рейна
Цветут разлохматятся цветы

IL CANTO

"Я скрылся в мою совесть, он скрылся в церкви".

- Сударь! Постойте! Сударь, да остановитесь же!

Я бежал за человеком в сером плаще. Он, не оборачиваясь, также прибавлял шаг. Когда я нагнал его, была уже полночь. Он остановился и, тяжело дыша, лег грузным животом на кое-где захарканый тротуар.

- Что вам угодно? Какое вы имеете право преследовать вот так долго и мерзко такого же хьюмен биин, как и вы сами? - хрипел он сжатым, внутренним голосом. - Я уже давно сдался в этой жизни всем остальным, но вы-то кто такой? Почему я так беспричинно, ни с того ни с сего должен сдаться вам? Что вы хотите от меня?

И он вдруг бурно разрыдался.

Я стоял совершенно потерянный, не зная что делать, мои костыли туго упирались в мои подмышки, на его серый плащ отставного поручика КГБ стал опускаться белый лохматый снег. Мы присутствовали при первом рождении моей любимой, хрустящей зимы.

- Сударь, простите, я всего лишь ленинградский пиит, и ваше лицо мне показалось знакомым...

- Оно не могло вам показаться знакомым, - прорыдал грузный человек, - так как вы видели меня только со спины, а с лица меня уже давно стерли - вот, пожалуйста. - И он перекатился на спину к близстоящему фонарному столбу. Тусклый свет освещал то волшебное место, которое по всем природным данным своим должно было быть лицом, но было всего лишь фантазией. Да-да, к моему прибавившемуся сердцебиению и ужасу я вдруг увидел черты той, что была так дорога мне и любима десять лет назад.

Она улыбалась все той же белой лисячьей улыбкой, и ее глаза пробовали загадывать желания и загадки, которые ей никогда не принадлежали.

- Великий Могол, ничтожное животное, я опять встретил твое лицо! За что? За что ты преследуешь меня?

Она улыбнулась детскими пухлыми губами, и знакомый голос стал ронять слова, в которых, может, за всю долгую историю нашего знакомства была правда.

- Неужели ты до сих пор не знаешь что наша жизнь это погоня? Каждый из нас преследует кого-то или что-то. Так ты пробовал преследовать свою мечту, ты наделял меня мыслями и поступками, которых я не имела вовсе. Пять лет я лишь была твоим эхом. В ответ я дарила тебе иллюзию твоего же собственного миража. Я хотела видеть счастье и любовь в твоих детских безумных глазах. Прости, но игра была слишком красивой и заманчивой. Это жестоко, но я также влюбилась в двух героев: я наделяла их приключениями и поступками, я обожала моих живых кукол, я...

Она не договорила, так как отшатнувшись, я приподнял онемевшую правую руку и ударил по вздернутым пухлым губам. Красная пузырчатая жижица стала заливать нежный подбородок, припухшие, слишком бледные щеки и голубые лемурии глаза. Вдруг все исчезло.

Я увидел себя на широком маковом поле, маленьким мальчиком, глубоко вбирающим жизнь воздуха и смеющимся, смеющимся без причины. Капустницы, адмиралы, шоколадницы садились на мою шелковую рубашку, видимо принимая и меня за тонкий волосатый мак. Все во мне было ликование и радость. Я ел неизвестно откуда взявшийся сочный, хрустящий арбуз.

"Животное!" И моя любимая бессмертная собака, перелетев через зеленоглазый забор, уже догоняла новенький немецкий велосипед марки "Даймант". Я летел в скучное, мертвое будущее моей жизни, с молодой дикой радостью не по возрасту длинных тонких ног.

Деревенские желтоволосые мальчишки остервенело кидали пустые дымчатые бутылки из-под газированной воды и водки под туго накачанную шину колес, но меня пронесило, а от этой глупой, пустой опасности сердце начинало биться быстрее, а в голову ударял божественный наркотик, который достается только один раз.

Встав на колени, я поцеловал несуществующее лицо моей фантазии, и в ту же секунду я услышал изумительное по воздушности и чистоте пение. Исчез отставной поручик КГБ, исчез легко заснеженный город, исчез язык, на котором больше не говорят и не пишут, стал исчезать и я, блаженно растворяясь в неизвестном откуда взявшемся, стремительно уносящемся в небо итальянском *il canto*.

ГНОЗИС

религиозно-философский и литературный журнал на русском и английском языках. Освещает широкий круг современных явлений в философии, религии, мистицизме, искусстве. Печатает современную прозу и поэзию на двух языках. Журнал выходит в Нью-Йорке четыре раза в год.

ГНОЗИС I. Сергей Левицкий: Джозая Ройс и русская философия. Юрий Иваск: Мандельштам о Белом. Грегори Дарлинг: Интерпретация Бхагаватгиты у шри Ауробиндо. Антон Григорьев: Богопознание у Евагрия Понтийского. Леонид Чертков: Прогулка в сельце Савинском. Виктор Савинский: Размышления о религии. Виктория Андреева: Толстой и Фет — опыт жизнестроительства. Эдуард Зильберман: К пониманию культурных традиций через типы мышления. Аркадий Ровнер: Башашкино время или записки фонтана. Юрий Мамлеев: Пальба. Письма и рецензии.

ГНОЗИС II. Даниил Андреев: Роза мира. Джон Опий: Икона и монах. Григорий Померанц: Об упадке буддизма в средневековой Индии. Виктория Андреева: Киреевский и Чаадаев — опыт традиционалистской гносеологии. Милисент Бенойт: Между двух миров. Николай Боков: Страды Омозоллова. Леонид Аранзон: Стихотворения.

ГНОЗИС III-IV. Даниил Андреев: Затомисы. Томас Берри: Религиозные формы будущего. Василий Яновский: Доклад Свифтсона. М.Е. Архангельский: Малевич, действительность и культура. Анри Волохонский: Двенадцать ступеней натурального строя. Евгений Вертлиб: О природе символа у Андрея Белого и Вяч. Иванова. Аркадий Ровнер: Буптый брак. Петр Булыжников: Стихотворения.

ГНОЗИС V-VI. Виктория Андреева: Время „Чисел“. Василий Яновский: Необыкновенное десятилетие (интервью). Поля Елисейские (глава о Ю. Фельзене). Александр Бахрах: Шаршун которого я знал. Гайто Газданов: Авантюрист. Письма Бориса Поплавского Юрию Иваску. Генрих Худяков: Лазртид. Юрий Мамлеев: Приход. Евгений Вагин: „Страх России“. Евгений Вертлиб: Карамзин и Достоевский. Стихотворения: Игоря Бурихина, Даниела Ричи, Леонида Аранзона, Анри Волохонского, Ильи Бокштейна, Елены Шварц. Рецензии, литературная анкета, хроника, письма.

Адрес: GNOSIS, Box 86, 527 Riverside Drive, New York, N.Y. 10027, USA.

Представитель в Израиле: Valery Dunaevsky, Rehov Etzel 8/14, Givat Tsarfatit, Jerusalem, Israel.

Стоимость первого и второго номеров: 4 дол. Двойные третий-четвертый и пятый-шестой номера: 6 дол. Подписка на год — 12 дол. Пересылка за счет заказчика.

„ГНОЗИС“ можно приобрести в русских книжных магазинах Европы, Израиля и Америки.

СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

часть первая

ДРУГ СПЕШИТ К ДРУГУ

Вода ударялась о воду. В Неву лился ливень. Приходя в соприкосновение с поверхностью реки, струи были вынуждены резко менять направление и плыть все в одну сторону, а именно - залива. Тогда как они успели уже надоесть друг другу за время своего параллельного падения. А может, им хотелось покружиться, повертеться...

Было полшестого утра. Кочетков Александр ехал по мосту в трамвае, потому что его друг Ваня Мюллер наконец окончил свой многолетний труд.

УМНОЖЕННЫЙ САМ НА СЕБЯ ДОДЕКАЭДР

"...Последнее, что слышал Гриневицкий, был колокольный гул: бум-бум-бум-бу... Все же остальные слышали взрыв и раскатистый грохот. Желябов, в доме предварительного заключения, испытал, услышав взрывы, разные чувства: как революционер - одни, как мужина и муж - другие, как человек - третьи, как собрат и коллега - четвертые, как игрок и охотник - пятые, как родственник своих родственников - шестые, как поэт в душе - седьмые, как демоническая натура - восьмые, как дитя под суровой корою - девятые и еще многие, многие другие, о которых здесь не время, да и не место распространяться.

Знаменитый писатель Ник. Лесков и его сын Андрей, в то время гимназист, услышав грохот, остановились. Воздух еще дрожал,

когда раздался второй взрыв, жутче чем-то первого. Они проходили мимо булочной на углу Захарьевской и Литейного. И услышали еще запах булки. С тех пор и до конца своих дней, как только Андрей Лесков слышал взрыв (а он их слышал много), ему сразу хотелось горячей булки, а почему - он не знал. Удивившись, они в растерянности огляделись, и при этом взгляд их, проведя в воздухе круг, задел и дом предварительного заключения. Но толстая и тогда уже стена помешала им увидеть Желябова, кусающего ногти.

Свежая могила Достоевского от звука взрыва слегка осела, и первая доска скрипнула.

Грачи кружились в воздухе и жалели - зачем не остались в Пскове.

Актеры Александринского театра начали было репетицию, последнюю перед премьерой, но в панике бросились со сцены, решив, что завистники, наконец, подвели под театр бомбу.

Кухарка Авдотьева в этот миг мыла пол и, услышав грохот, по причине легкой своей глухоты, решила, что это ее муж упал в соседней комнате с постели, с которой он не вставал уже неделю, предаваясь запою, и в сердцах прокляла его. В кухарке этой крылась такая большая оккультная сила, что муж ее тотчас заболел скоротечной чахоткой. И через неделю она уже шла за его гробом пешком в Старую Деревню.

Короче говоря, взрыв этот поднялся в воздух и превратился как бы в некий многогранный шар, в умноженный сам на себя блестящий додекаэдр, который понесся, разрастаясь во все стороны, некоторых давя, некоторых ослепляя. После чего он и сам взорвался. Многочисленные его осколки рассыпались, блестя и сверкая."

3

друг, извинившись, прерывает друга

- Извини, пожалуйста, - сказал Александр, - твое сочинение, Ваня, навело меня на некоторые мысли или даже, скорее, воспоминания, и я хочу с тобой поделиться ими, а то снова забуду. Видишь ли, когда мне было пять лет, я убил свою тетку. Понимаешь, я высунулся в форточку и плевал в прохожих, и вот некоторые из них стали ломиться к нам в квартиру, и тогда моя тетя Ира открыла им дверь, и они стали кричать и ругаться, и она в ярости, при них же, сорвала с меня штанишки, сломала расцветающий филлокактус, знаешь - с такими зазубринками по краям листьев и...

4

несчастный случай в родильном доме

доктора пепперкорна

- Здесь начинается самое интересное, - сказал Ваня. - Ты потом расскажешь про кактус. Я перехожу к самой сути моего исследования, до причины, побудившей меня. Тут влетает мотив глубоко личный. Слушай. "Некоторых давя и некоторых ослепляя, после чего он сам взорвался. Многочисленные осколки разлетелись по сторонам и по сей день летают. Один из них ношу в себе. Вот как

это произошло. За минуту до взрыва, то есть в 13.44, 1 марта 1881 года, моя бабушка, Анастасия Ивановна Мюллер, в девичестве Лупекина, родила сына - Петра Мюллера, моего отца. Случилось это в лечебнице доктора Пепперкорна, персонал которой славился своей аккуратностью и умелостью, почему дедушка и настоял, чтобы роды принимались там и нигде больше. Лечебница же находилась на Канаве, в пятистах метрах от взрыва; дедушка не мог этого предвидеть, того то есть, что произойдет Взрыв, и акушерка-немка, в жизни их не слышавшая, испугается так, что уронит моего новорожденного отца прямо на каменный пол, забыв свой профессиональный долг, потому что она не должна была бы ронять младенца, даже если бы началось светопреставление. Пепперкорн уволил ее с волчьим билетом, но вряд ли это может кого-нибудь утешить, а тем более - меня.

Отец мой долго был при смерти. Но выжил. Он был, по словам бабушки, нормальным ребенком во всем - за единственным исключением - он не говорил до 15 лет.

Заговорил же он вот как: отец был всегда (и добавлю - остался до самой смерти) очень хорош собою, просто неотразим. Он возбуждал страсть во всех женщинах, которые только видели его, но сам оставался холоден ко всем. И вот - когда ему было 15 лет - развратная горничная ущипнула его в коридоре, подмигнула, и думая, что слов он не понимает, подтолкнула его к двери своей комнаты. Тут отец страшно покраснел и сказал, потирая место ущипа (целительного, как оказалось!): "Милостивый государь! Я не из тех, кои дают повод мужчинам презирать себя!" - и с тех пор он говорил до конца своих дней, почти не умолкая.

Но молчание столь продолжительное не было его единственным ущербом. Остальные, однако, не были такой уж большой жизненной важности. Он не умел (и никогда не научился):

считать дальше ста,
умножать и делить,
фехтовать,
ругаться матом,
есть курицу,
учить наизусть стихи,
курить,
ездить на лошади
и смотреть кино.

Кроме того, он не мог дарить своей жене тех радостей, которые, как считаю, должны дарить друг другу стороны, состоящие в законном браке. У моей матушки было 6 человек детей, из них я один - законный.

Как призналась она мне недавно, я был зачат папенькой в припадке странного вдохновения, когда ему было 66 лет. Ни до, ни после такого с ним не случалось. Поэтому все мои братья и сестры по возрасту годятся мне в бабушки и в дедушки.

Из того, что не умел папенька, я не умею только фехтовать. Сам же по себе (что тоже, несомненно, последствия взрыва) я не умею:

играть в карты,
произносить слов с окончанием на - тия, - ция,
открывать шампанское,
давать на чай
и составлять гербарии.

Во всем же остальном я - человек вполне обычный. Как видишь - я не умею уже меньше, чем не умел мой папа, но кто поручится, что мои дети, внуки и отдаленные потомки не будут не уметь еще больше, чем папа, то есть будут носить в самих себе звук и осколки того Взрыва, происшедшего 1 марта 1881 года и убившего императора Александра II, Гриневицкого, мальчика с салазками и повергнувшего моего отца на каменный пол. Кто может дать мне такую гарант... гарант... - Гарантию, - помог Александр.

- Да, пока все. Я кончил.

5

александр продолжает свой рассказ

- То, что ты, Ваня, прочел, - меня поразило и даже потрясло. Не понимаю только, почему ты так мучаешься. Ведь все знают, что сын Маши Поповой - твой ребенок, и хотя ему всего 5 лет, он много говорит, играет в карты, фехтует, открывает шампанское и ест курицу. Так что у тебя нет оснований для того, чтобы так себя истязать.

Ваня вздохнул и задумался. Александр сказал: "На чем я остановился? Да. Тетя Ира, а я ее любил и обожал, к слову сказать, сломала гладколиственный кактус (как раз только расцветший - как сейчас помню - с огромным лилово-розовым цветком, с большою кистью шелковых тычинок) и отхлестала меня им при всех. Я кусал себя за руку, но молчал. Потом она просила прощения - на коленях. Я сделал вид, что простил".

Тут Александр заплакал.

- Не рассказывай, если тебе больно, - сказал Ваня.

- Ну раз уж начал. - И Александр продолжил свой рассказ.

- Тетя Ира купила мне на следующий день два пирожных - наполеон и корзиночку. И сводила меня в кино - на "Красную шапочку". Родители мои были тогда в отъезде - они геологи. Я хотел написать отцу письмо. "Папа, - хотел я ему написать, - меня обижают здесь, приезжай". Но вместо этого я взял крысиный яд, он стоял в кладовке, в банке с синей крышкой. Вынул из корзиночки крем, смешал его со столовой ложкой яда, положил обратно крем и варенье, а потом отнес его тете Ире и сказал: "Скушай, тетя".

Она заплакала от умиления и долго отказывалась. Но потом со словами: "Добрый мальчик. Сашенька у нас добрый", - съела.

Ваня молчал и только смотрел на Александра.

- Она съела. Ну и умерла. В мученьях.

Ваня сказал только: "Ты? И никто не узнал?"

- Нет, конечно, кто подумает на пятилетнего малыша? Подумали - сама отравилась. Когда она лежала и кричала, мне стало страшно, я плакал. Правда, я думал: теперь не будешь ломать кактусы, не будешь бить! Но мне было очень страшно и жалко ее. Когда ее

увозили, она с трудом уже сказала: "Если б ты знал!.." - и застонала.

И он заплакал опять.

- Не плачь, Саша, не надо. Ты был тогда другой человек, ребенок.

- Я плачу оттого, что все эти двадцать лет не помнил об этом, я забыл тогда же. И при мне никогда не говорили о тете Ире. Я жил так, как будто ничего не было и я никого не убивал! И только недавно я вспомнил, как она сказала - если б ты знал... И я задумался, что - знал? Что она хотела сказать?.. Ты теперь отвернешься от меня? И правильно.

- Нет, что ты!

6

Ваня утешает Сашу

Солнце освещало пыльный пол ваниной комнаты.

- Саша, не вспоминай! Если все вспоминать... Чтобы все вспомнить - всю жизнь, если бы вдруг память так заработала - все - до того, что зевнул, встал, сел, лег, то надо было бы прожить столько, сколько прожил - на всю длину памяти, а потом еще столько же, чтобы вспомнить, как вспоминал, и так - до бесконечности. Не вспоминай, а живи просто - и всё.

7

Саша делает еще одно признание

- Ты знаешь, Ваня, я рассказал об этом потому...

- Почему?

- Я не хотел говорить о твоём сочинении; оно мне не понравилось. Я хотел тебя отвлечь и рассказать что-нибудь такое, чтобы ты отвлекся. И тут вспомнил, - сказал Саша, не замечая, что Ваня покраснел и насупил.

- Я все думал, что бы это значило: "если б ты знал", но так и не понял. То ли - если б ты знал, как я страдаю, или - если б ты знал, как ты сам будешь страдать, или - если б ты знал, что такое жизнь и что значит отнять ее у кого-нибудь?

Ваня сказал:

- Конечно, ты не понимал тогда этого. Ты и сейчас не понимаешь. Как можно жить, если сделал такое?

- Ах так! - сказал Саша и ушел.

8

Саша идет домой

Саша стоял в очереди за квасом и думал: Зачем я наврал про какую-то тетю? Надо было прямо сказать - что это была моя мать. И все. Нет, я еще не свободен. Он заплатил три копейки и огля-

нулся. Он стоял на том месте, где когда-то лился не квас, а совсем-совсем другое. Где был тот взрыв, где Гриневицкий услышал "бум-бум". Ах, Ваня, прости, пожалуйста, подумал Саша. Он вернулся и сказал: Я не понял сначала. Мне очень понравилось.

Ваня улыбнулся и сказал: Забудь, Саша.

9

на прогулке

- Мне очень тяжело, - сказал Саша. Потом они выпили портвейна и пошли гулять. Они молчали. Гуляли до самой ночи. Они спустились по гранитным ступеням к самому каналу. Было тихо и холодно.

- Тебе все еще тяжело? - спросил Ваня.

- Да, - сказал Саша. - А я мог бы сделать так, чтоб тебе стало легче? Я мог бы толкнуть тебя сейчас, и ты полетел бы в канал и утонул?

- Зачем?

- А зачем ты отравил тетку? Я бы восстановил равновесие справедливости и взял бы твой грех на себя.

Саша подвинулся ближе к воде, подальше от Вани. Канал лежал как мертвая загнивающая кошка. С тем же выражением всезнания и покоя на волнах.

- Ты этого не сделаешь.

- Почему?

- Потому что ты не Гриневицкий и даже не Рысаков. Потому что мы живем в ничтожное время и, следовательно, мы ничтожные люди.

Ваня сказал: Если бы я взял твой грех на себя, он был бы на мне и кому-то потом пришлось бы убить меня. Но если я потом убью себя сам, то вся эта цепь уйдет в землю и распадется. Но убивать надо спокойно и равнодушно, как прикуриваешь. Тогда это будет равноценно.

С этими словами Ваня подошел к Саше и толкнул его ногой в воду. Он сделал это равнодушно и спокойно. Поэтому Саша успел схватить его за пальто, и они оба упали в воду. Они барахтались так недолго. Появилась дворничиха и закричала благим матом. Ваня и Саша вылезли грязные и мокрые на ступеньки. Саша лег животом на камень и тяжело дышал.

- Тьфу, - сказал Ваня и ушел.

часть вторая

1

САШИНЫ МЫСЛИ

Через полгода сашина обида улеглась. Он решил познакомить Ваню со своей невестой. К тому же он был уверен, что Ваня продолжает свои разыскания, и ему было интересно с ними познакомиться.

2

КАТЯ ЗНАКОМИТСЯ С ВАНЕЙ

Катя была широкоплечая, миловидная, в очках, с распущенными волосами того цвета, который Гончаров называл "нежно-мочальным".

- Какой вы красивый, - сказала Катя и протянула руку ладонью вверх.

- Весь в отца, - сказал Ваня и слегка плюнул ей на руку. Она вытерла руку о волосы и представилась: Екатерина Романовна Вяземских. Студентка бирманского отделения.

Она вошла в комнату, сняла подушку с незастеленной постели и, положив ее на пол, села. Между ними состоялся следующий диалог:

КАТЯ: Хлебово есть?

ВАНЯ: В смысле выпить? Только краска, к сожалению.

КАТЯ: Сойдет.

3

ВАНЯ И САША ОТКРЫВАЮТ НА КУХНЕ БУТЫЛКУ

Ваня спросил Сашу: Ты собираешься на ней жениться?

- Да, - сказал Саша. - Она ничего. Поколачивает иногда. Но ничего. Развита. Она пишет эссе о тамплиерах. Волошина опровергает. Только впечатлительна чересчур.

4

РАЗГОВОР ВАНИ С КАТЕЙ

Катя сказала: Мне ваша фамилия - Мюллер вас, да? - не нравится.

Ваня спросил: Антитевтонка? Антисемитка?

Катя ответила: И то и другое.

Ваня обрадовался: Тогда я вас сейчас выгоню. - И спрятал бутылку.

- Не выгоните.

- Почему? Я - хозяин.

- А нас больше, - заметила Катя. Они помолчали.

Катя задумчиво сказала: Вообще все зависит от настроения. Когда как. Обычно в будни - ведь сегодня праздник - 8 марта - я чужда расовых предрассудков, да и, пожалуй, сословных тоже. Видите ли, по материнской линии я происхожу из рода бояр Вяземских и родственница знаменитого поэта. Но моя мать, стараясь доказать лояльность режиму, в конце 20-х годов вышла замуж за бывшего дворового человека князей Вяземских, за лакея-кальмыка Романа Вяземских. Поэтому по матери я - Вяземская, а по отцу - Вяземских. Правда, интересно? Редкий случай.

- Интересно, - сказали Ваня и Саша. Ваня спросил: А вы хорошо изучили бирманский язык? - Знаешь, - сказал Саша, - она постеснялась сказать, что учится на китайском. Это кажется ей слиш-

ком тривиальным. - О! - воскликнул Ваня, - это мой любимый язык, скажите что-нибудь по-китайски, пожалуйста. Ну например - мао-цзе-дун-капут. Как это будет?

- Мяу-вяу-ли-ду! - прорычала Катя злобно.

- Что это значит?

- Это значит - пошел ты к едрене фене, - перевела Катя.

Они выпили и повеселели. Ваня спросил: Кстати, как вы решаетесь выйти замуж за человека, который убил свою тетю?

- Не тетю, а мать, - сказала Катя, - что ж, отчасти я его за это и полюбила.

Саша покраснел и сказал: Вам не стыдно мучить человека? И вообще - не мать, а отца. Я скрывал это потому, что не хотел, чтобы мне приписали эдипов комплекс. Не будем об этом. Кстати, когда я рассказал об этом твоему сыну Андрюше, он сразу понял, в отличие от вас, что это был отец. Дядя Саша, сказал он, у тебя банальный эдипов комплекс. Зачем ты мне врешь. Ясно, что ты убил отца, а вот техника действительно очень оригинальная. Так он сказал. Вообще он меня иногда просто пугает. Зачем ты подsunул малышу Фрейда?

- Это не я, - сказал Ваня, - это Маша. Ты же знаешь Машу. Но я это отчасти одобрил, пусть ребенок изучает свои комплексы и сам лечит себя от неврозов. Ребенок забавный. Он сказал мне на днях, что у него комплекс Медеи наоборот, то есть он ненавидит мать. На самом деле он просто совершил перестановку родителей, чтобы избавиться от эдипова комплекса, но так и не избавился.

Саша спросил: Ну а как твои изыскания насчет взрыва, работаешь? Кстати, у меня для тебя сюрприз. Но об этом после.

Ваня ответил: Работаю. Правда, я немного уклонился от темы. Я изучал второй взрыв - Гриневицкого - и продолжаю изучать, но временно занялся и первым - Рысакова.

- Не слишком ли вы разбрасываетесь? - спросила Катя. Но ответа не получила. Ваня только заметил: Я не так оригинален, как ты, Саша, в деле умерщвления, я просто возьму эту девушку за ноги и стукну головой о подоконник.

Катя взяла в руки нож, но никто не обратил на нее внимания.

5

о мальчике с салазками

- Ты знаешь, - продолжал Ваня, - что бомбой Рысакова был убит проходивший мимо мальчик с салазками. Я был у знакомых кабалистов и сам произвел некоторые вычисления, навел справки и узнал кое-что об этом ни в чем не повинном мальчике. То, что я узнал, подтверждает мою теорию катящегося додекаэдра или просто граненого шара, если угодно. Или теорию живых осколков. Тут надо еще думать. Так вот - мальчика звали Иван Козмодемьянский, мать привезла его за год до взрыва в Петербург с Карпат. Это была уже очень старая деревенская колдунья. Я ездил в село Горевница, что под Яремчой, и много о ней спрашивал. Древние старики еще ее помнят. Мне рассказали, что она была вынуждена уехать из села, так как ее уличили в колдовстве и убийстве. Сына она

родила от какого-то странного прохожего, впрочем, некоторые утверждают, что от обыкновенного, прилетающего через трубу огненного змея. Все эти сведения и мои вычисления недвусмысленно говорят о том, что мальчик этот должен был стать спасителем России. Не буду вдаваться в подробности, но если бы Рысаков не кинул бы свою дурацкую бомбу, которая убила именно этого мальчика и больше никого, то Иван Козмодемьянский стал бы политическим деятелем, вошел бы в состав Временного правительства, вовремя сместил бы Керенского и твердой рукой установил бы в России демокра... демокра... не могу произнести. Ну, вам понятно. При нем учредительное собрание довело бы свою работу до конца, выработало бы конститу... ну понятно, и он стал бы первым президентом свободной России.

Саша спросил: А ты не можешь познакомить нас с этими вычислениями?

- Нет, это слишком сложно, - сказал Ваня. - Я изучал каббалу семь лет и все еще только ученик, а вы хотите...

- Ну ладно, - сказал Саша, - я говорил, что у меня для тебя сюрприз. - Он достал из кармана тетрадку.

6

Изабелла

- Я рылся на днях в старых газетах, в Публичке был, и нашел в одной бульварной газетенке под названием "Новости Невского проспекта и 2-х Морских улиц" интересную для тебя заметку. Вот она. Номер от 24 марта 1901 года. "Мартовская серенада" - так называется заметка. Вот: "Знаменитая певица Изабелла Дюбон, подобно комете пронесшаяся по сценам Европы, оставившая позади себя курганы покончивших с собой поклонников, увлекшая за собой в Петербург целый хвост воздыхателей, осаждаемая и здесь толпами почитателей, наконец не избегла стрелы Амура! Но стрела эта была отравлена. Лучше бы ты не приезжала к нам, итальянский соловей! Здесь в северных снегах застудила ты свое нежное горлышко и оказалась в лечебнице "Иван Ивановича" (это, - сказал Саша, - психиатрическая лечебница в Старой Деревне). Месяц назад, а именно 1 марта, Изабелла пела "Аиду"; как всегда, публика целый час не отпускала певицу, и та, к несчастью своему, кланяясь, кинула взор в ложу номер 4 (дело было в Мариинском театре). Она поблелела, покачнулась и кинулась прямо по ступенькам в зал, к упомянутой уже ложе. Она, не обращая внимания на испуганную и удивленную публику, встала на кресло и схватила за руку молодого человека, сидевшего в ложе. И что-то ему прошептала. Стоявшие рядом расслышали только: "приходи"... и потеряла сознание. Она упала бы с кресла, но подоспевшие друзья Изабеллы - князь В... и граф М... - подхватили и унесли ее. Но молодой человек не пришел к ней, она сама пришла к нему - раз, другой, и наконец ее перестали принимать. Юный нарцисс (а им, как известно, оказался сын известного купца-немца Петр М-р) остался холоден к ее чарам. Изабелла перестала петь, она заплатила огромную неустойку, все дни она проводила, преследуя молодого человека, который (о не-

мецкая рассудительность!) всячески избегал ее и даже прямо грубо отталкивал. И вот вчера ночью - дрожащая, лихорадочно возбужденная Изабелла (в сопровождении князя В... и тщетно успокаивавших ее многочисленных поклонников) подъехала к дому М-ов, скинула шубу, осталась в шелковой, расшитой золотом тунике, подбежала к окнам, и ее все еще мощное и звонкое сопрано огласило С-ый переулок. Она пела арию Изольды. С восторгом ей внимали проснувшиеся жители соседних домов. Откуда слетела к нам эта райская птица? - думали они. И тут случилось... ужасное!!! Чья-то жестокая рука (рука глухого, должно быть) высунулась из окна... с горшком и вылила на левую его содержимое, о котором мы умолчим. В глубоком обмороке увезли певицу домой, а оттуда в лечебницу. Как носит земля подобных... нет! не найти для них названия. Мы надеемся (если жива в нас, русских, любовь к искусству), городская полиция вышлет этих извергов в 24 часа. Позор!"

- Вот это да! - сказала Катя.

- Это был твой отец, Ваня? - спросил Саша. - Ты говорил, что он был необыкновенно красив.

- Да, это был мой отец. Я слышал от родных об этой истории. Насчет горшка, правда, мне не рассказывали. Да это и сомнительно. Спасибо тебе, Саша.

Ваня встал и нежно поцеловал Сашу.

- Это очень важный документ для моей работы. В нем доказательство невероятной красоты моего отца. Сам он не любил своего лица и уничтожил все фотографии. Эта красота не была ему передана по наследству. Нет! Она тоже была последствием взрыва. Ужас, смешавшийся со взрывной волной, преобразил черты упавшего младенца. Отец чувствовал, должно быть, что его лицо - не его лицо, не его он должен был носить, и поэтому ненавидел свою красоту. Это было лицо взрыва. Вы видите, что я тоже красив. Но уже не так, как отец. Я ношу тоже это проклятие...

Тут в дверь постучали.

7

пришли маша и андрюша

Маша вошла, вынула из кармана яблоко и кинула им в Ваню. Но не попала.

- Негодяй! Мало того, что ты не даешь нам ни копейки, ты еще обкрадываешь собственного ребенка!

Катя подняла яблоко и с хрустом вонзила в него зубы. Андрюша подбежал к отцу и стал его целовать.

- Зачем ты унес его коньки? Мальчик не пошел на фигурное катание! Андрюша, иди сюда! - Но Андрюша все целовал отца.

- Ты продал их?

- Да, я их продал. Все равно - весна.

- У них искусственный лед, мерзавец! Дай деньги!

- Я их истратил.

- Я могу вам дать, если хотите, у меня есть три рубля, - сказала Катя.

- Вот! Ты еще девиц водишь! Всякая шлюха...

Маша подбежала к Кате, схватила ее за ухо, крича: Убирайся вон!

Катя молча укусила ее в плечо.

- Это невеста Саши! - закричал Ваня.

Маша сказала задумчиво: Ходят всякие...

Саша принес ей воды. Она причитала: У ребенка нет клюшки, у ребенка нет Брокгауза и Эфрона, а ведь обещал, обещал! - И она заплакала. Саша стал ее утешать. А Андрюша сказал Ване: Ты знаешь, папа, Николай Кузанский был прав, утверждая, что бесконечно большое и бесконечно малое - тождественны! Но меня сейчас волнуют другие проблемы, эсхатологические...

- Мальчик, сколько тебе лет? - спросила Катя.

- Скоро пять, - ответил Андрюша, недружелюбно посмотрев на Катю. И добавил: Идея вечноженственного, как я замечаю, реже всего воплощается именно в женщинах. - И отвернулся. - Скажи, папа, как совместить метампсихоз и Страшный суд? Ведь если, скажем, в прошлых жизнях я был петухом, рыбой, рыцарем, вороной, собой - в этой, и неизвестно кем - в следующей, потому что я чувствую, что я еще не достигну совершенства и мне еще придется воплощаться и воплощаться - так вот - в каком же образе я воскресну? Или, если отбросить метампсихоз, то просто - в каком возрасте я возрожусь - в котором умру, стариком или молодым? И другие тоже - в каком кто умер?

Ваня сказал: На первый вопрос - о метампсихозе, было бы долго отвечать, я потом объясню. А что касается второго, то неужели тебе непонятно, что где нет времени, там нет и возраста. И потом...

Тут Андрюша наклонился к Ване и шепотом спросил: А если мама умрет, ты возьмешь меня к себе?

Но Ваня не успел ответить на этот вопрос. Маша подошла к ним, взяла Андрюшу за руку и сказала: Пойдем. И добавила Ване: Принеси завтра деньги, где хочешь достань.

- Лучше бы ваш ребенок поменьше читал, - сказала Катя.

- А это не ваше дело, - сказала Маша.

Андрюша подошел к Саше и сказал: Спасибо вам, дядя Саша, вы мне рассказали в прошлый раз много интересного и полезного.

И они ушли.

- Этот ребенок меня иногда пугает, - сказал Ваня.

- Да уж, ребеночек! - сказала Катя.

Потом они выпивали и беседовали о взрыве, одним из последствий которого они считали и Андрюшу.

- Интересно, что певица влюбилась в твоего отца тоже 1 марта. Странно, - заметил Саша.

- Да, я уже подумал об этом, - сказал Ваня.

Потом Катя сказала, что не пойдет домой, а останется с Ваней, потому что он ей нравится больше, чем Саша.

- Все этот взрыв и эта проклятая красота, - вздохнул Ваня и заметил, что Катя ему не нравится.

Тогда Катя и Саша ушли.

Через некоторое время

Читатель уже, конечно, догадался, что случилось дальше. Примерно через неделю, когда Ваня и Саша опять сидели и разговаривали, уже без Кати, которая, чтобы избавиться от любви к Ване, занялась йогой и уже ложилась под грузовик, и тот не смог ее раздавить, а только запачкал, пришел Андрюша. Он был слегка взволнован. И он сказал: Папа, теперь ты должен взять меня к себе, потому что я воспользовался рекомендациями дяди Саши, его опытом и точно так же убил свою маму, как он своего отца.

Ваня побледнел. А Саша закричал: Я никого не убивал! Ни маму, ни папу! Я шутил! Я просто играл. Не знаю зачем. Идиот! Как ты смел!

Андрюша сказал: Успокойтесь! Идея была интересной, и я ею воспользовался. Она уже в морге. Правда, корзиночки я не нашел, дал буше, но это дела не меняет, как вы понимаете. Из гуманных соображений я дал ей еще большую долю наперстянки, когда она пожаловалась, что у нее болит живот. Так что у нее случился разрыв сердца, и она умерла мгновенно.

- Зачем ты это сделал?

- Чтобы ты меня взял к себе. Постоянное общение с ней делало мое мышление косным и мешало развитию интеллекта. На данном этапе мне нужен ты. А там посмотрим.

- А вот я сейчас возьму и отведу тебя в милиц... миль... И ты во всем признаешься.

- Нет, я не признаюсь. А в милицию вести глупо. Никто тебе не поверит, тебя запрут в психушку. Раскаяться бы можно, но тогда уже меня запрут в такое заведение, где я быстро деградирую. Так что, папа, бери меня к себе.

- А я знаю, что я с тобой сделаю, вундеркинд! Я запишу тебя в суворовское училище!

Андрюша понял серьезность угрозы и зарыдал. Он надеялся только, что его не примут по возрасту, но его приняли ввиду его выдающихся способностей и стали учить строевой подготовке. Через год он уже объяснялся только междометиями и ругался матом. А Ваня с Сашей по-прежнему собирались по вечерам и читали друг другу отрывки из своих исторических изысканий, и беседовали о взрыве и о голове Гриневицкого, заспиртованной и предъявленной, как известно, Желябову для опознания.

март, 1979 г.

из книги "ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ"

начало

Прошлой ночью моя совесть-сомнение, уподобясь весам, более древним, чем у римской Фемиды, и более точным, чем старый еврей-аптекарь в дореволюционных нарукавниках, пыталась сравнивать. В одной руке она держала чуть наклонное, но все же подлинное здание Кунсткамеры, для равновесия поддерживая его мизинцем, а на ладонь другой давил бидон, чуть ли не ведро теплой крови, почему-то пахнувшей то ли типографской краской первого печатного алфавита, то ли преобразованиями. Руки дрожали от непомерной тяжести, хотелось бросить все и уйти. Но что-то, какая-то гордость за отпущенное мне счастье быть, заставляло вслушиваться и вглядываться в равновесие старчески подрагивающих рук и для вдохновения подпрыгивать на месте, как мальчик со слабым мочевым пузырем. Сзади на меня падала тень, но я даже не пытался спрятаться от нее. Это было одно из условий задачи, неразложимой, как иероглиф. Это была тень Петровской эпохи, вытянутой на дыбе.

Всю ночь я ходил взад и вперед по начинающим уже слипаться между собой строчкам, чувствуя, как липнут к дымящимся башмакам тонкие страницы. "Кто же ты?" - думал я, из последних сил напругая падающие руки.

Кто ты, иноша-царь, смущенно прикрывающий лицо от взглядов иностранок, закрывая теми же самыми руками, что только что рвали на куски внутренности еще живого, но убиваемого тобой человека? Кто ты, подросток-переросток, смело перешагивающий через века спокойного и кропотливого, последовательного труда многих и многих и совершивший за свой короткий-длинный полувек столько, сколько другим было не унести, какие бы карманы они себе ни делали? Как мне вместить тебя, великого и страшного, в свою в общем-то небольшую человеческую душу, которой еще мешает слишком нервное, по теперешним временам, сердце?

Твой первый велико-жестокий город, отопленный дыханием и построенный из костей сотен тысяч скобарей, болотистый рай, твой "Парадиз" с мазанками, крашенными под кирпич, с кровлями из горбыля, подделанными под respectable черепицу? Твой первый корабль, соскользнувший с просмоленных стапелей в мрак Балтийского моря, и тысячи плах и крестов, на которых распинались стрельцы, доведенные нуждой до болезни разговоров и сомнений?

Твои двенадцать колен, двенадцать столпов, пустотелых ходуль, на которые ты взгромоздил свое государство-курятник, и вольница казаков, навсегда выкуренная с берегов Дона и с Запорожья?

Ненависть к тебе людей, лишенных даже последнего прибежища - тайны исповеди, и первая твоя газета, твои "Ведомости" с репликами о том, как есть, спать, любить или не любить женщин, что надевать и кого за это благодарить?

Звон твоих побед, который до сих пор стоит больно и нудно в наших ушах, острый нож Полтавы, твой нож, наш великий государь, первый российский полководец, создавший науку побеждать противника голодом, многодневными переходами и крещенскими морозами? Ты и здесь был первый, рябой Петр, наводнивший пруды своей страны тысячью шепчущих фискалов. И запросто отрубавший головы любовников своих любовниц. Ты - убийца собственного сына, хитростью заманивший его в картонную ловушку, за что? Был ли ты счастлив? Откуда бралась в тебе эта нескончаемая энергия, сифилитик, энергия, выбрасываемая ежедневно, как первые половые выбросы изнывающего от похоти юноши? И только беспощадная урмия смогла остановить твой безостановочный почтовый бег, но - тчетно, колесо крутится и до сих пор. Кто ты, "законы писавший кнутом", нет ли в тебе капли грузинской крови? Романидзе, нет? Может, Романович, а? Слава Богу, хоть ты не жидовская морда!

А друзья твои, робкие попутчики по протоптанной колее, ненасытные князья-ворюги? "Пироги подовые, пироги подовые, славься Петр"? А обер-фискал Нестеров, бессребреник, с нюхом ищейки, и ты сложил голову под свистящим птицей топором?

О, Россия, моя бедная, сонная девочка, дитя, изнасилованное и спереди и сзади! Как тебе теперь эти одежды? Россия, вместе с Богом забывшая, зачем еще человеку нужны пальцы, что тебе снится по ночам? Не снится ли тебе он, твой первый ненасытный и беззастенчивый любовник, не посчитавшийся ни с твоим возрастом, ни с хрупкостью твоих членов, голодно просвечивающих под тонкой кожей?

...Все, устал, хочу пить. Я прошу, принесите, пожалуйста. Прошу долго, нудно и немного гнусаво: пить, пить, пить! Наконец мне принесли стакан с розовой жидкостью и говорят, что это так вкусно и полезно для моего возраста: кровь с молоком, пейте, товарищи! Меня мучит жажда, и я бы выпил эту бурду, но запах, меня все время преследует этот запах! Неужели никак нельзя без крови? Можно мне хоть десять капель, но простой холодной воды? Пожалуйста, мне хоть немного, но холодной! Боже мой, почему теперь просто чистая вода?

В ДВУХ СЛОВАХ

Литература с читателем играет в пинг-понг. Шарик мотается туда-сюда, как буйно помешанный по коридору: если читать для перелачивания страниц, от обильных зевков может вывихнуться нижняя челюсть.

У литературы содранная кожа на ладонях: не надо сыпать на них солью - им и так больно. Суть не в печатных знаках, а как раз в том, для чего знака не придумано.

По привычке я сравниваю два лирических стихотворения Пушкина: "Я помню чудное мгновенье" с либым другим, например, "Ты бог-омать, нет сомненья..." (написаны об одной и той же женщине и примерно в одно и то же время).

"Понять" стихотворение - значит почувствовать повышенное давление в сосудах и холодок на коже (будто ее смочили спиртом и подули) от вошедшего импульса вдохновения. Задача поэта одна: передать слепок вдохновения, испытанного им неизвестно как, стараясь при этом как можно меньше расплескать. Суть не в ситуации, которая описывается, не в мыслях, сталкивающих слова и образующих тесноту поэтического ряда, и даже не в семантических гранях слов, которые могут позванивать как льдинки: все это красные флажки, загоняющие волка в западню. "Я помню чудное мгновенье..." не имеет оригинальных мыслей, ситуация "встреча-разлука-встреча" тривиальна, самый красивый гармоничный образ - "гений чистой красоты" - Пушкин позаимствовал у Жуковского. Однако ощущение сгущенной, почти оседаемой поэзии бросается в глаза сразу, точно кинутая в лицо горсть песка. В стихе есть фурункульный стержень, концентрирующийся в скрытой от глаза и ума темноте; "понявший" стихотворение ощущает его, как укол иголки.

Передача вдохновения напоминает доведение до состояния покая женщины с многоступенчатым оргазмом: никогда до конца неизвестно - достигнута цель или она только мелькнула тенью в проеме дверей. При всем многообразии авторских стилей и сюжетных симпатий цель всегда единственная - наведение фокуса на собственный трепет. Кровеносная система поэтических средств вторична по сути: если из тела выпустить душу, оно умрет.

Лирический герой Блока, восторгающийся Прекрасной дамой, испытывает то же напряжение половых органов, что и еврей Блюм или Гумберт Гумберт Набокова, и не говорит он об этом не потому, что стесняется, а потому что это не входит в его задачу. Литераторы всех тысячелетий описывали одно и то же: реальность - Марсий, с которого можно содрать сто шкур. Морализирующий человек Толстого и Джойса один, ракурсы взгляда различны. Толстой чувствует, как дышит женская кожа, омытая дождем; Джойс сдирает с женщины эту кожу и внимательно рассматривает внутренности.

Освежающая ценность искусства - новизна сдвига реальности по отношению ко взгляду обывателя. Обыватель не имеет своего взгляда: уровень его глаз совпадает с уровнем моря, то есть предшествующего эстетического достижения. Не адекватное изображение действительности, как кажется наивному читателю, а искажение ее посредством сдвига, которым является вдохновение автора. Сдвиг,

а не действительность является самоценным: отпечаток, остающийся от вхождения в сырой и рыхлый материал действительности.

Ни один предмет не обладает ни красотой, ни живописностью, красота отпечатывается на предмете при прикосновении художника, как пальцы на масляной бумаге. Природа ни красива, ни безобразна, она безразлична (находится в состоянии прострации); обыватель, восторгающийся "видом", восторгается им по вторичному воспоминанию. Литературные ассоциации, помимо нашей воли, закрывают предмет, как женщина одеждами свое тело. Художник прелюбодействует с вещью, которая иногда перед ним обнажается, обыватель любит произведением его спермы.

Ценность искусства не объективна, а дифференцирована. На вопрос, зачем писать, Пушкин неоднократно и с удовольствием отвечал: "Пишу для себе, печатаю для денег".

Циничным может показаться только первая часть утверждения, вторая содержит скрытый смысл. Правда, и на этот смысл можно взглянуть с двух сторон. С одной стороны, возможно, Пушкин (вслед за Шиллером и перед Спенсером) считал искусство игрой. Низшие животные растрачивают содержание своей жизни на половое общение (продолжение жизни) и на эпикурейские радости (сохранение ее); у человека, после удовлетворения этих потребностей, остается верблужий горб с излишком силы. Этот-то излишек и употребляется на игру, переходящую в искусство. Игра есть подобие настоящего действия; то же и есть искусство.

Итак, Пушкин, как апологет "чистого искусства", считал последнее этически бесцельным, но эстетически направленным: особый род интеллектуальных занятий, доступных немногим, ведущий к наслаждению. Недаром Сократ, морально отточенный, как карандаш чертежника, вычеркивал из своей республики поэтов.

Правда, на "пишу для себе" можно взглянуть и с другой стороны. "Пишу для себе" - значит, пишу то, что сам, как читатель, хотел бы прочесть. Если единственный подходящий материал в искусстве - авторское вдохновение, которое передается по вторичным признакам у сдвигаемых предметов, пушкинская поэтика - зеркальце в девичьей у царя Соломона.

Общаясь с литераторами разных поколений, я наткнулся на интересное открытие: почти у всех, даже самых умных и тонких, эманация вкуса останавливается на какой-нибудь точке. Так, провинциальные женщины предпочитают и остаются всю жизнь верны модам своей юности и танцуют так, как делали это в двадцать лет. Происходит странная вещь: искусство развивается перманентно, а литераторы остаются на каком-нибудь этаже: все, что выше, их не очень интересует, и они не очень в этом разбираются - они устали двигаться. При этом они сохраняют точные и тонкие суждения об искусстве прошедшем и искренне любят его.

Самое трудное - понимать новое в искусстве. У нового подчас блуждающие глаза, каннибальские привычки и привкус человеческой крови на губах.

ТРИ ШАГА ЗА ГОРИЗОНТ

"Вот вы говорите, что понимаете: вопрос о смысле жизни - вопрос чисто юношеский, а почему? Юность ближе к истине, потому что не омрачена меркантильными соображениями, придающими впоследствии стремлениям чисто духовным оттенок инфантильности. Что я могу ответить вам? Как представитель известной организации, только одно: смысл жизни человека - постижение Бога. Только не надо бояться слов! Слово "Бог" теперь напоминает плохой памятник с нацарапанными на постаменте неприличными выражениями. Нет, они не оскорбляют ни создателя памятника, ни его "прототипа", но как бы мешают его созерцанию.

Помните, как Толстой где-то сказал, что он чувствует лучше, чем мыслит, мыслит лучше, чем говорит, а говорит лучше, чем пишет? Это очень точно. Здесь подчеркнута граница, разделяющая разные сферы. Переход просто не может быть адекватным. Возьмите музыку, наиболее абстрактное искусство, и попытайтесь передать ее словами: соответствия не будет. Слова окажутся конечными и приблизительными. Или, наоборот, музыкой передайте узор лепного орнамента - вас ждет неудача.

То же самое происходит с человеческими представлениями, когда они касаются бесконечного. Знаете, грубо говоря, что такое Логос - это мечта всех поэтов о полном слиянии мысли со словом. То же самое и со словом "Бог". Даже не только со словом, а и со всеми связанными с ним человеческими понятиями.

Мы пытаемся постичь бесконечную истину, переводя музыку в цвет, а этапы этого постижения закрепляем словами. Это - передача опыта. Так начинается религия.

Вот вы правильно сказали: если в нашей жизни нет разумного хребта, стволостого позвоночника, - значит, мы все легче воздуха и, как оторванные листья, летим по ветру, а он постоянно дует в разные стороны. Вот вы уже и сделали первый шаг. Он самый простой. Он просто отталкивается от обратного. Обратное - это хаос, оправдывающий безнравственность. В этом выборе хитро определяется истинное лицо человека. Либо да, либо нет: третьего не дано. Это именно выбор по допущению, по склонности - ибо *доказательства* нет. По совести - либо хаос, либо разумное начало и разумный ствол, который создан кем-то или чем-то, природой ли, конечно не слепой, "Богом" ли - здесь не в словах дело.

Но это только первый шаг. Выбрав или "поверив", это одно и то же, в разумный путь, вам надо узнать, как по нему идти. Как слепому нужна палка с металлическим наконечником, чтобы простукивать каждый свой шаг, так и вам нужна граница, контурная карта, накладывая которую на вашу жизнь, вы сможете определить - правильным или нет является ваш следующий шаг. Сразу поймите - не цель, самая многообещающая, но осуществление которой требует извилистого пути, а каждый, не дробимый более шаг - маленькое приращение жизни. Только в отношении этого неделимого больше шага или поступка, как вам угодно, возможно упрощение, то есть называние его либо добрым, либо нет. Так начинались мучения Толстого. Он воззвал к тому, что доступно всем: к разуму. И дей-

ствительно, на этом шаге еще возможны логические переходы. Он попросил людей не прозреть, а лишь подумать. Увидеть, что неважно: кем написаны десять заповедей - "Богом" или человеком (тем более что "написаны" они действительно человеком) - главное, что там заложены все истины. Все те законы, которые идеально принимаются всеми, он и призвал вспомнить.

Владимир Соловьев несколько поторопился с его осуждением. Того Толстого все равно не понимали, и писал он через поколение, отступником он казался только тогда. Теперь же он та вторая ступень, тот второй шаг, более важный именно сейчас, когда люди рождаются без веры и начинают сомневаться. Этот шаг и есть - разумное осознание Евангелия как полной истины. Вывод его очень прост - не надо обижаться. Обижаться даже просто нельзя, так как во всем, что бы ни происходило, есть участие каждого.

Представьте себе огромную, но не бесконечную последовательность шаров. Вы совсем легко толкаете крайний, он толкнет следующий и так далее. Последний, разогнавшись, может убить ребенка. Убил он, но ведь толкнули и вы? Предположим, решились на робкий адюльтер - изменили своей жене. Жена, вымещая обиду, сорвала ее на ком-то еще. Так начинается соучастие. Даже если механика этого другая, в мире ни *один поступок* не пропадает бесследно.

Однако, к сожалению (или счастью), Соловьев оказался прав. Призыв к разумно совершаемому добру для многих пролетает мимо цели. Он хорош только как инерция к тому, чтобы сделать третий шаг. Вы поймете это сами, когда проживете еще чуть-чуть. Добро не может существовать без зла, так же как зло без добра. Это вечно ссорящиеся, но любящие друг друга супруги. Вы поймете это, и вам покажется, что вы сходите с ума! Оказывается, здесь, в конечном пространстве, они одинаково нужны оба - их счета сведутся потом.

Вы поймете это, когда занесете ногу над бесконечностью. Третий шаг самый трудный. Он почти логический, но выстрадать его нужно самому. Это почти очевидно: смысл - понятие бесконечное, не в ограниченном пространстве подводить итоги. У вас уже почти нет другого выхода: сказав "а", говорите "б". Вам уже мало признать, что жизнь имеет разумный ствол, так как этот ствол бесконечный; мало признать, что идти по нему можно, лишь освещая себе дорогу истиной, то есть Евангелием, так как истина не имеет конца; вам еще надо признать, что тот, кто создал ствол и истину - есть Бог, и этот Бог - есть Христос, единственная тропинка, ведущая от конечного к бесконечному, или как бы попытка на время материализовать бесконечность. Материализованная бесконечность умерла и превратилась в нематериальную вечность.

Вот так вы должны поплатиться за свое любопытство. За желание посчитать мир разумным и нравственным где-то в сердцевине. Ведь вы сами сделали выбор, поверив в "да", все остальное - только инерция.

Это ваше полное право. Вы всегда можете вернуться, признать свой путь ошибкой и утвердить в правах Хаос.

Ну, это я только так, на всякий случай. Знаете, еще вот о чем. Вы когда-нибудь бывали на юге? Там такие ночи - темные, как

слепота, что даже светлячки могут помочь. Я как раз о них. Светлячки - это ваши личные добрые дела, они могут посветить, если захотите сделать третий шаг. Все-таки какая-то поддержка. И, главное, помните о начале: помните - вы сами все выбрали."

О ПУШКИНЕ

Поэтический талант Пушкина очень вероятен. Правда, такой ценитель поэзии, как Толстой, отказывал ему в нем: Толстому нравилось единственное стихотворение Пушкина, за исключением одного слова, которое портило текст, делая его претенциозным. Правда, почитатели Пушкина читали не его, а отпечатки пальцев на масляной бумаге, и листая книжечку из собрания сочинений, копалась в пушкинском грязном белье, которого не мало, и еще в белье Гончаровой. И все-таки: поэтический талант Пушкина очень вероятен. Невероятно его положение в истории литературы; но и на это есть причины.

Воспитание на авторитете напоминает стрельбу по мишеням: чем меньше мишеней и чем они крупнее, тем легче попасть. В глубокой тени Пушкина шелестят школьнические шаги безумного Батюшкова, пропадают контуры нечистого на руку Баратынского; Тютчев ковыряет в носу и плачет сквозь чеховское пенсне. И никто не заметил, что у Пушкина был еврейский характер: честолюбие, непропорциональное маленькому росту, торопливая речь, перемешанная со слюнками, и обезьянья сексуальность, из-за половой неудовлетворенности.

Теория прогресса в литературе изъедена молью, как бабушкино шерстяное платье или как теория диктатуры пролетариата. Из Пушкина-эгоцентрика делают Пушкина - члена ВКП(б), а мальчишеское озорство, вызванное щекотливым отсутствием общественного положения и досадной бедностью дырявого Михайловского, возводят в ранг высоких убеждений.

Сразу после 14 декабря Пушкин писал князю Вяземскому: "Я, конечно, презираю мое отечество с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и... - то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милой улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно - услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится - ай-да умница!".

Под конец своей жизни он высказался еще более определенно: "Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка".

Будучи несомненно настоящим, поэт многолик, как Будда. У каждого свой Пушкин, как свой паспорт. Лет пятнадцать назад воздушные шары были дефицитом. Быстрорезонирующие отцы надували сво-

им воздухом неиспользованные презервативы и вручали их сыновьям, идущим на демонстрацию. Достоевский в своей Пушкинской речи надул резиновый шарик Пушкина своим воздухом. Быстроногая Татьяна Ларина, раздеваясь на ходу, как манекенщица, зашла в телефон-автомат и, прикрепив камуфлированную бороду, сгорбившись, как старец Зосима, снова вышла на улицу русской литературы. Зачем, спросите, он это сделал? Опытные печники знают, что одно полено всегда тухнет, два, положенные с просветом и параллельно, дают концентрированное тепло. Железная дорога тоже сначала была одноколейной и только потом двухрельсовой, Достоевский уложил рядом с собой рельс Пушкина, чтобы нескучно было лежать и быстрее добраться до казармы Бога. Из библии известно, что немощный царь Давид, негодный как мужчина, клал себе в постель невинную девушку для тепла. Поэзия, оказывается, ножны, подходящие для шпаги любой длины.

Нет, я не протестую, я недоумеваю. Разве поэт - джокер в игре без козырей? Пушкин, прекрасно знавший, что в котле литературы любое убеждение меняет цвет и становится приемом, с удальством плевал на любознательных дураков и стеснительных читателей:

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

Нет ничего оскорбительней для настоящего поэта, как комариный шум возни вокруг его имени и фамильярное похлопыванье по плечу "пушкиноведами в солдатских шинелях". Народные тропы не зарастают к гипсовым памятникам культа и к общественным уборным: в обоих случаях почитатели мочатся прямо на стену. Пристальное внимание подозрительно: оно компрометирует. Братья-писатели уточняют, что красота - это то, что вызывает инстинктивное отвращение у нашей кухарки и нашей любовницы. Настоящее искусство не ширпотреб, оно элитарно по сути.

И все-таки поэтический талант Пушкина очень вероятен.

КОНЕЦ СВЕТА

Меня спрашивают: когда будет конец света? Я смотрю в окно и вижу пролетарскую осень в старом пальто на ватине, сидящую, подперев морщинистое лицо кулаками, на скамейке. Я вижу паузы ее зубов, ее усталость и разъезжающиеся швы на рукавах: могу доказать кому угодно: это не метафизика. Старая женщина с просроченным комсомольским билетом в кармане на булавке: тебя не понимает никто; ты же ушла сама, но у тебе уже нету сил.

Когда же будет конец света? Пьяницы теперь мочатся прямо в лифтах, отчего на третий день запах высохшей мимозы; женщины опасаются климакса и спасаются от него макияжем; сердцебиение ног, заполняющее улицы, ужасает меня буржуазными каблуками.

Слава Богу, еще задаются вопросы! Мне не нравятся точки - они похожи на гробовые гвозди; не нравятся запятыя - у них контур замочной скважины; пугает апофеоз восклицательного знака, на-

поминающий пионерский салют; я уважаю только вопросы - за прикус простора и за пунктир горизонта: за ним всегда следует продолжение.

Как же это получилось, что мы остались сиротами? Мамочка, можно я покажу дяденьке милиционеру язык, как дяденька Руссо показывал женщинам свои половые органы? Меня тошнит от буржуазной демократии, ибо я никому не хочу показывать свои половые органы и так же не хочу, чтобы их показывали мне. Плюйте на меня, старого дурака, но мне жалко мальчика из соседней парадной - зачем вы забиваете ему голову дрянью: сено-солома, сено-солома, ать-два, ать-два? Впрочем, кому приятно, когда лезут в рот грязными официозными пальцами, чтобы вырвать зуб мудрости и сделать полноценным кретином, заставляя при этом счастливо мяукать, как кошка у Черного, которой ставили клизму.

Что за время, какая у него тонкая талия и сатиновые трусы до колена! Расскажешь - не поверите. Время сидит на очковой диете, где точка - яйцо, а двоеточие - глазунья. Время сидит на чемоданах и с тоской смотрит за океан: "Пустите Дуньку в Европу!" Черт бы вас побрал, внутренние эмигранты, я сам, кажется, скоро уеду.

Просто не знаю: на кого можно положиться? Дверь от скуки перекосило, как при флюсе, и она открывается со скрипом. Товарищи, не умеющие дергать ручку унитаза, но пишущие на стенах только в рифму, давайте отвыкать от атавизма мрачных привычек: посмотрите через плечо - у нас за спиной прошлый век.

Паноптикум, колесо обозрения, комната смеха. Что это за протокольная рожа наблюдает исподтишка за мной из угла? Ловлю жест, точно женский взгляд: ну, конечно, это я, весь в чернильных печатях из здравого смысла, с бирочкой, пришпиленной к языку, с мыслями, уставшими от разговоров, стертых, как половик.

Горький привкус, размытая дождливая перспектива. Прошлый век смотрит сквозь пенсне на шнурке и не узнает сам себя. Господа, к чему этот маскарад: у вашего фрака тюремный номер на спине? Все смешалось в доме Облонских. Беременные школьницы гадают на ромашке. В переполненном автобусе подслушал конец анекдота: "Обком звонит в колокол!".

...И все же: когда конец света? Я смотрю в окно: сгорбленная женщина в мокром пальто сидит на скамейке и смотрит перед собой. Потом встает и идет куда глаза глядят. У пролетарской осени трясутся руки.

Рукотисъ пришла из самиздата. Об авторе известно лишь, что он живет в России.

из конкретной поэзии

проект 1

Покрасить снег в Троице-Сергиевской лавре в золотой цвет. Над лаврой возвести купол с холодильной установкой для поддержания зимнего климата.

проект 2

"10 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ РУССКОЙ ЗИМЫ"

- (Проект для Интуриста)

Выбрать изящный уголок русского зимнего пейзажа (желательно в Европейской части), отмерить десять квадратных метров и возвести над этим квадратом прозрачный купол с кондиционной установкой для сохранения зимней температуры. (Можно поместить туда одного русского "мужика".) Туристы, приезжающие в Россию летом, не будут лишены возможности насладиться красотами русской зимы.

проект 3

То же самое для летнего пейзажа (можно рядом с "зимним" в качестве постоянных экспонатов), учитывая, что туристы могут попасть в Россию в суровую зиму.

проект 4

ВАМ - ЛЮБИТЕЛЯМ ЛЫЖНОГО СПОРТА!

Фирмам, выпускающим спортивный инвентарь, предлагается разработать и устанавливать на лыжах компактный краскоразбрызгиватель. Представьте себе ясный зимний солнечный день: десятки любителей лыжного спорта несутся с гор или идут себе так - по ровному мес-

ту - и все оставляют за собой яркие разноцветные (цвет по выбору) лыжи. А если это общественное мероприятие или лыжники передовики соцтруда, то сколько лозунгов можно написать на снегу в назидание многочисленным неспортивным элементам, пришедшим полюбоваться спортом смелых и выносливых. Сколько возможностей для самых разнообразных спортивных и прочих мероприятий. Для педагогов это подлинная революция. Отныне школьники могут делать свои задания не в тетрадках, а на снегу!

проект 5

"КУЛЬТУРНЫЙ"

На снежном поле (желательно между Немчиновкой и Ромашковым) группа участников Тотального Художественного Действия (ТХД) в черных масках отмеряет квадрат 100 x 100 метров и закрашивает его черной краской из краскоразбрызгивателей или посыпает золой. По окончании этой акции они покидают поле, и к делу приступает другая группа ТХД (экологическая) и красит черный квадрат в белый цвет, возвращая полю его первоначальную белизну.

проект 6

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ)

В ясный зимний выходной день участники Тотального Художественного Действия собираются (поодиночке) в заранее намеченном участке новостройки (например, Орехово-Борисово). На всех должны быть белые халаты, и у каждого краскоразбрызгиватель с белой краской. Тщательно окрашивая в белый цвет все предметы, оставшиеся после завершившейся стройки (вмерзшие в землю и чернеющие на белом снегу трубы, плиты, лишние конструкции и потерянные конструкции и прочий мусор), участники акции возвращают пейзажу первоначальную зимнюю белизну, позволяя нововозведенным зданиям мирно сосуществовать с пространством, взаимобогащая друг друга и расширяя эстетический кругозор новосельцев. К действию желательно привлечь работников местных предприятий и учебных заведений.

Все силы на побелку загрязненной среды!

Анатолий Жигалов - поэт и художник. Живет в Москве. Печатался в журналах "Континент", "Время и мы".

ВОТ КАКАЯ КАРУСЕЛЬ...

НАЧАЛО НОВОГО РОМАНА

Дорогие мои!

Конечно же, я получил после вызова три ваших письма. Но как я мог ответить хотя бы на первое, если я даже не знал, что теперь будет? Ведь могло быть все вплоть до самого худшего: митинг, я признаю себя инакомыслящим, дети летят с хороших работ, Света и Витя из комсомольских организаций, будь они, между нами, прокляты, ибо внукам от них нет покоя. Одним словом, я буду писать убористо, вы не знаете, что такое цеховой митинг. Это нечто среднее между одночасовой забастовкой и сталинским погромом. С одной стороны, все рады, что никто не работает и за это платят, а с другой — громят меня одного, как еврея плюс сиониста, хотя я замечательный карусельщик. Не знаю, есть ли такие карусельщики у Форда. Так вот, меня громят, я чистосердечно признаю, что вы у меня за границей, что я получил вызов и не сообщил об этом куда следует сам, как будто они сами этого не знали. Я признаю, что все эти годы, прикидываясь замечательным карусельщиком и орденосцем, вынашивал планы удара ножом в спину родины и не мигнув глазом получал тринадцатую зарплату. Они выступали бы один за другим, лишь бы не работать и клеймить замечательного карусельщика, и я один был бы виноват во всем, буквально, я не преувеличиваю, во всем: и Ливан, и Камбоджа, и на заводе полный бардак, и заплесневелая технология, и руки прочь от Эфиопии, и за взятки дают жилплощадь, и нет масла и мяса, и вредительская колбаса только по праздникам, и Пиночет, и нет туалетной бумаги, и многое другое. Если бы, клянусь вам, это не был митинг протеста, то я подумал бы, что это небольшая революция против Брежнева и политбюро. Слава Богу, что митинга такого не было. Не знаю, пережил бы я его без инфаркта. Ведь увезли же старого ин-

женера Гойхмана прямо с трибуны людного митинга в городскую больницу с обширным инфарктом, когда он подал? Увезли! Разрешение ему пришло в ту же больницу, но Гойхман из нее уже не вышел. Было поздно. Вы видите, что они делают? Мы живем, как на вулкане. А куда я брошу письмо в Америку? В ящик? Вы наивные люди! Из Москвы оно еще, может быть, дошло бы до вас, но из нашего сраного, то есть говенного города такие письма приходят исключительно в областное КГБ, и тогда начинается. Тогда начинается то, чего я сам своею рукою начать не могу. Все моментально пойдет прахом. Дети полетят с работы, внуков затравят к чертовой матери. Я не сошел с ума от страха. У нас уже было несколько таких случаев. Я одного в связи со всем этим не понимаю, дорогие. Я не понимаю, почему партийцам кажется, что я, мои дети, моя жена и другие евреи сидим у них, как щучья кость в горле, но вынуть ее из горла, то есть не пить из нас кровь за одно только желание уехать они одновременно не хотят. Не понимаю. Но так я никогда не кончу. Потому буду писать убористо. Честно говоря, ни я лично, ни Вера подавать никогда не хотели. Трудно, очень трудно было, прожив в нашем говенном, то есть сраном городе, с одним заводом, двумя отделами КГБ, двадцатью милициями, универсамом "Полет", где на полках не мясо, масло и рыба, а только тот предмет ночевал на прилавках, чем нас делали и чем продолжают, несмотря на отсутствие продуктов, делать детей жители нашего города. Трудно было, повторяю, думать об снятии с места в таком очень пожилом возрасте. Тем более по телевизору чуть ли не каждый день показывают пенсионеров из Нью-Йорка, Лондона и Парижа с трагедией старости, ночевкой на бульварах, под мостами и как их вышвыривают из квартир на голый тротуар. Вере я даже не показал вызов. Письма ваши тоже от нее скрыл. Зачем ей зря трепать нервы? И вот дело принимает следующий оборот. Звонит из Москвы Володя. Он женат на москвичке. Она русская. Милая. Учит иврит и поет под гитару песни. Он звонит и говорит: "Папа! Мы твердо решили ехать. Пришел вызов. Мы подаем документы. На днях приеду за разрешением". Ты получишь хворобу, отвечаю ему не задумываясь, а не разрешение. Ты, говорю, понял это, щенок, и не ты ли устроил нам вызов, хотя тебя никто не просил? Да, говорит он, я устроил. Нохима, Цилю, Сола и Джо тоже нашел я. Ты им ответил? Я задрожал от ярости, я чуть не запустил телефоном в Веру, в его мать и отвечаю: ты, паразитина и богема, считаешь, что ты ведешь телефонный разговор, провокатор? Ему хоть бы что!

Да! Хватит пердеть от страха! Сколько можно? Раз мы говорим по телефону и оплачиваем счета, то наш разговор в самой Большой Советской Энциклопедии называется телефонный. А если разговор ведется в постели, то нужно открыть энциклопедию не на букву "т", а на букву "и", интимный то есть разговор.

Я бросил трубку. На сегодня писать кончаю, ибо если я не отвечал вам так долго на три ваших письма, то даже неудобно как-то ответить на них моментально. Кроме того, легче работать в мои годы на огромном карусельном станке, чем писать письма. Но если бы я был писателем, то я бы написал такое, что у вас фары полезли бы на лоб, столько я всего пережил с 1917 года и в голлодуху, и в чистки, и в энтузиазм 30-х годов, и в ежовщину, и на

фронте, и в тылу, когда взяли врачей, дорогие вы мои. Только не думайте, что все это пережил я один. Миллионы пережили. И пусть у вас не будет мнения о пережитом исключительно одними нами, евреями. Если бы, повторяю, я был писателем, я безусловно сочинил бы всего лишь одну толщенную книгу и назвал ее не иначе как "Всеобщие страдания и переживания народов СССР". Кстати, Володя рассказывал, что книга вроде этой уже написана, но называется, на мой личный взгляд, странно, наподобие путешествий: "Архипелаг". Так что на сегодня я кончаю...

Итак, буду продолжать по порядку. Приезжает Володя получать мое и Верино разрешение. Решаю тянуть и не давать. Нельзя же вот так вдруг, ни с того ни с сего сниматься, как шалавым курицам с насиженных мест и лететь опять же по-куриному неизвестно куда и неизвестно зачем? Согласитесь со мной, вы же почему-то не снимаетесь с Лос-Анджелеса и не летите на землю предков наших, как говорит Володя. Хотя он же поясняет, что ваше положение и наше - разные положения. Вы как бы на свободе, а мы как бы в тюрьме. Не буду уж вымарывать слов "как бы", которые мне начинают казаться лишними... Приезжает Володя. Он тут же, будьте уверены, получает по морде за тот телефонный разговор и самую большую советскую энциклопедию. Он бы ушел, если бы не моя дорогая Вера. "О! Только через мой труп!" Так сказала эта заслуженная артистка. Тогда Вова снял пальто и заперся в сортире курить. Вера встала с порога, и разве мог я тогда не подумать: "Боже мой, слава Тебе за то, что жива любимая жена моя, хотя я несколько раз перешагивал через нее, лежащую на пороге, когда шел опохмеляться с другом всех моих дней Федором, когда уходил, чтоб я сгорел от этого воспоминанья, уходил из дому к сволочи одной Лизе из планового отдела, когда я больной после операции срывался на рыбалку, когда я бежал набить рыло классному руководителю моего сына Вовы за то, что он назвал мальчика "жидом", когда тот публично выступил в защиту несправедливо обиженной девочки, когда..." Впрочем, ложась на пороге и вопя на весь дом: "Только через мой труп!", Вера сотни раз спасала меня, дорогие, от милиций, тюрем, увольнений, выговоров и различных кадохес. Она столько раз меня спасала этим дурацким предварительным условием сначала сделать ее трупом, а потом уже, например, идти бросать письмо в ЦК с жалобой на паскудных мошенников из горпищеторга или сказать директору завода все, что я о нем думаю, что я таки постепенно из бравого разведчика, каким заявился в наш говенный город с фронта, стал превращаться в герморройного тихоню, в примерного, несмотря на отвратительную, по словам парторга, национальность, и опытейшего карусельщика. Лучшего, более того, карусельщика нашего задриспанного несчастного города.

Глава вторая первого письма, из которого вы поймете, дорогие, какое я был говно долгие годы.

Так как я уверен теперь, что письма мои до вас обязательно дойдут, если, разумеется, не воздушная катастрофа, палестинские террористы, бермудские треугольники или какой-нибудь всемирный шмон инопришельцами нашей планеты, то зачем мне писать убористот? Я буду говорить что хочу и как хочу. Все непонятные выражения, которые, извините, вьелись в мой фронтовой и рабочий язык,

как въелась в ладони обеих рук пыль металла, пожалуйста, выпишите на отдельный листок, и при встрече я сделаю политические комментарии, потому что это мне нужно делать комментарии, а не швиному парашнику Валентину Зорину, с которого мне всегда хотелось снять приличную стружку на моем карусельном станке, и что бы, вы думаете, от него осталось? Одна тринадцатая хромосома с легкой вонью, как говорит мой Володя. Он, между прочим, биолог, но его перестали допускать до ген. Так вот, о выражениях на одном примере. Я, мой лучший друг Федя и наши товарищи по рыбалке, когда мы думали об отмене выигршей по займам и хотели начать подтирать облигациями, вы знаете, что именно подтирают совершенно обесцененной бумагой, называемой по теперешней моде туалетной, когда мы, повторяю, думали об этом, один из нас подсек щучку и сказал: "Я ебу Советскую власть". Федя на это ему ответил: "Мы все ее давно ебем, но она с нас не слазит". Я не знаю, дорогие, употребляете ли вы такие выражения. Скорей всего нет, ибо Федя тогда утверждал, что если бы в вашей стране правительство одолжило у народа трудовую копейку, причем наше правительство одолжило не по-доброму и душевному, как обычно одалживают друг у друга нормальные порядочные люди, а приставив нож к горлу на митинге, и если бы ваше правительство вдруг сказало, что вроде бы по вашей же просьбе вы теперь увидите не возврат денег, не тиражи с выигршами и погашениями, а от одного места уши, то ваше правительство вмиг побросало бы в параши свои портфели и было бы растерто как сопля по стене Белого дома. Поясню. Люди после войны пухли с голода, многие не имели ничего, кроме дырок на кальсонах, люди упирались и пахали (эти выражения перепишите на отдельный листок) больше, чем лошади, и многие навек осунулись от горя, ибо потеряли любимых и близких. На зарплату и так купить было нечего. Карточки на хлеб, карточки на то, карточки на се, и вот тут опять всех гонят от станков и письменных столов на митинг. Стоим сложа руки. Парторг, сейчас он министр, рыло его бесовское, с бригадой за три дня не обкакаешь, вылезит на трибуну, мы ее кукушкиным гнездом называли, и говорит: страна в развалинах, стонут города и дети, слева подпирает проклятый империализм, изнутри подтачивает космополитизм, Зоценко и Ахматова блудят на глазах у народа и пишут слова почище, чем в вокзальном сортире, но мы построим светлое будущее - коммунизм, встаньте на цыпочки - зримые его черты видны невооруженным глазом, дружно подпишемся на заем восстановления и развития народного хозяйства во имя небывалого подъема монолитного единства партии и народа, слава великому кормчему, родному, любимому генералиссимусу Сталину, вперед! Кто самый смелый? Шагом марш на трибуну! Бывало, не скрою, и я выходил. Да, говорю, в ответ на ежеминутную заботу партии родной, разумеется и коммунистической, одолжим стране трудовую копейку, которую вкладываем в свое же хозяйство, самих себя же питаем, и возвратят нам потом эту трудовую копейку с лихвой. Подписываюсь на две зарплаты! Говорю я это, а сам думаю: "Вера, как же мы концы сведем с концами, Боже мой! Вове три годика, Свете три месяца! Не пойду же я воровать в завсклады, как покойный Сема, я - бывший разведчик бесстрашный, а теперь рабочий человек на громадном карусельном станке".

Чтоб вам провалиться с этими займами, увеличили бы налоги и не ломали комедию со сладкими рожам и резиновыми словами. Бардак бы лучше ликвидировали на заводе нашем и во всей промышленности и назначили бы вместо пьяных говорунов-парторгов специалистов с головами, а не жопами красными на плечах. Чтобы техническое у нас и у нашей надорванной страны было руководство, а не политическое, которое хлобыстнув с похмелью ведро воды, орет с утра самого хриплым голосюгой: Давай, давай! Давай! Ура! Вперед! Все на трудовую вахту в честь выборов в народные суды, самые демократические в мире! Давай! Давай! Вот мой лучший друг Федя и ответил однажды парторгу нашего завода с глазу на глаз, когда тот подошел к нему и сказал, хлопнув по плечу (такой разговор и такие жесты он считал политическим руководством): Давай, Федя, давай! Федя ответил: Не надо меня хлопать по лопаткам, я не лошадь ломовая, а товарищ Давай знаете чем в Москве подавился? - Чем же? - спросил парторг. - Хуем он подавился, - объяснил Федя, - до сих пор его высрать не может. - Промолчал парторг, но затаил зло, падлюка, затаил, не простил лучшему моему другу Феде страшных слов, и сел мой Федя в свой час, не раньше и не позже. На 10 лет сел. Но об этом позже. Теперь, когда я знаю, что до вас дойдут-таки мои письма, со мной что-то случилось, что я теряю нить, пишу об одном, перескакиваю на другое, голова идет кругом, и кажется, повышается кровяное давление. На чем же я остановился? А! Вы, надеюсь, поняли, чем именно подавился в Москве товарищ Давай? Жаль, я не знаю это слово по-английски. Придется на старости лет изучать ваш язык. Я остановился на том, что говорили мы все, кроме Феде, одно, а думали иначе. И подписывались на заем не от чистой души, а от страха и многолетней затравленности, со слезами обиды, что вырывают у детей и старух из голодных глоток кусок хлеба, сахарок и маслице. Конечно, были у нас на заводе такие насосавшиеся за войну на броне барахла и денег люди, для которых подписка на две-три тысячи была безвредна и незаметна, как клоп кожаному пальто, но ведь большинство все тот же девятый..., вы уже знаете, что я имею в виду, без соли доедало, и из них еще вытягивали в получку двести, триста, а порой и четыреста. В общем, обидно нам было. Ведь все это политическое руководство на наших глазах начало строить для себя, за наш, разумеется, рабочий счет, новую жизнь. Отдельные дома с садами, гаражами и пристройками для шестерок (шестерки - это слуги), егерей напосылало в охотничьи заповедники. Разврат, одним словом, пошел. Политические руководители вместе с начальством, вполне откровенно поняв, что мы, бараны, никогда уже не пикнем, отделило свое питание от нашего. Отделило от нашего свое питание, лечение, снабжение ширпотребом и так далее. И это, повторяю, на наших глазах происходило в нашем засраном подмосковном городе и в масштабе всей страны. Баба, например, парторга каждый день, дорогие, моталась в Москву на казенной машине, с казенным рылом за рулем и шлялась по баракхолкам и магазинам. Молоденький паренек вздумал заикнуться об этом борделе на профсоюзном собрании. Так что б вы думали? Он вдруг пропал. Вы мне не поверите, но он действительно вдруг пропал. Через полгода мы узнали, что паренек оказался наймитом вашей американской раз-

ведки, крал чертежи и подстрекал по заданию Черчилля рабочих завода против его политических руководителей. Как вам это нравится? Но с чего я все-таки начал эту главу? У меня имеется стыд и страх перечитать написанное. Вдруг я напорол такой хреновины, что душа изумится и велит все спустить в уборную, хотя спускать опасные бумаги в сортир — чистое безумие. Врач Славин и инженер Байрамов именно так заработали по десятке. В те времена Берия отдал приказ всем домоуправам и сантехникам в случае засорения канализации бумагами направлять их немедленно в местные парторганизации или же в госбезопасность. Я не знаю, сколько всего народа село в нашей стране благодаря плохому напору воды в толчках (это унитаза), но Славин, замечательный, между прочим, детский врач, дай Бог вашей Америке побольше таких врачей, как он, спустил в толчок, опасаясь доноса соседей, часть фронтового дневника. Там понаписана была такая, говорят, правда о войне и политуках, что можно смело сказать: Славину хоть и обидно было так глупо погореть, но погорел он все-таки за дело. А вот с Байрамовым получилось иначе, и мне начинает, как и в те времена, казаться, что существует несомненно на белом свете такая Сила, которая хоть и не успевает воздать по заслугам всем предателям, продажным гнидам, обидчикам и гнусному ворью в продмагах и прочей твари, порожденной социализмом, потому что развелось ее слишком много, впору организовывать Министерство народного мщения, но иногда нет-нет да и врежет невидимая Сила по мозгам какому-нибудь ублюдку, так что ужасаются ему подобные и мудро покачивают удрученными головами не терявшие надежды. Этот Байрамов, дорогие, навел еще до войны ужас не только на простых инженеров нашего завода, но и на начальство. Сколько село из-за его доносов людей, подсчитать трудно. Но черт шельму метит. Однажды и у него глухо засорился сортир. Пришел водопроводчик Петр Степанович, я его знал, скотину, по рыбалке, вытащил из трубы клочки бумаги, отнес их куда следует, и вдруг, на радость всего завода, Байрамова берут прямо с работы из ЦКБ. То есть радость пришла на завод потом, а когда за Байрамовым пришли двое с нацищенными наждаком рылами и в габардиновых макинтошах, то все подумали, что Байрамова переводят в Москву или везут прямо к Швернику за получением ордена. Так он, паскуда, сияя, следуя к проходной между двумя рылами. Один даже внимательно поддерживал Байрамова под руку. Сам Байрамов шагал неторопливо и важно, смакуя каждый свой шаг. Если вы видели по телевизору, как шагают космонавты к ракете, то Байрамов шагал именно так. И что же мы узнаем через неделю? Мы узнаем благодаря утечке информации из следственной политической тюрьмы, что Байрамов не желает признаваться в попытке уничтожить в канализации материалы, порочащие внешнюю политику нашего правительства и лично товарища Сталина. Он также отказался признать тот очевидный факт, что среди бумаг, вытасканных из переходного колена канализационной трубы, находились письма к Троцкому и Гитлеру с просьбой перенести столицу СССР из Москвы в наш сраный город. И вот еще что мы узнали... Положение Байрамова крайне осложнялось тем, что на высушенных обрывках бумаги нельзя было разобрать ни одной буквы. Вода смыла даже точки и запятыя. Поэтому Байрамов отрицал все обвинения и

доказывал обратное. Он, дескать, уничтожил ряд доносов из-за их неорганизованности и отсутствия резких политических оценок поведения своих товарищей по работе. Байрамов вроде бы требовал провести экспертизу. Мы-то не сомневались, не такие уж мы идиоты, что Байрамов говорит правду. Однако обыск его письменного стола в присутствии трех понятых поставил неожиданную точку в деле падали, закладшей на смерть и лагерные муки десятки людей. В письменном столе Байрамова, в левом, как сейчас помню, ящике был найден флакон из под духов "Красная Москва" с невидимыми чернилами, которые в протоколе почему-то назывались симпатичными. Обыск проводил юркий молодой человек. Черные глаза, пробор посередине продолговатого черепа, пальцы тонкие как, извините, глисты. Совсем недавно мы с Верой выбрались наконец на гастроли какого-то цирка, и я, узнав в знаменитом фокуснике того самого шмонщика (это очень важное слово), все-таки заржал на весь зал. Мы сидели с Верой в первом ряду, я все-таки лучший карусельщик завода, и фокусник, тоже на весь зал, сказал: в этом фокусе, дорогие друзья, нет ничего смешного. На меня зашикали всякие лучшие продавцы, слесаря, конструкторы, милиционеры, учителя и прочие люди со слета ударников коммунистического труда, но как мне хотелось, дорогие, выйти на сцену и рассказать, почему я чуть не... от смеха. Разве же вам сейчас не смешно? Разве вы не начинаете понимать, в какой стране Мурлындии (так называет СССР мой лучший друг Федя, выйдя из каторжного лагеря) мы здесь живем, хотя вы не услышали еще стотысячной доли того, что знаю я и наблюдаю за всю свою жизнь и каждый день. Как вам нравится Байрамов? Он все же раскололся (не расколотся означает не признаться, даже если ты кругом виноват) под тяжестью флакона с невидимыми и симпатичными чернилами. Признал, тварь, всю тяжесть вины за попытку перенесения с помощью ЦРУ столицы нашей родины в мерзкий промышленный город, вредительские ошибки в чертежах с целью сорвать выполнение пятилетки в три года, и многое другое признал крыса Байрамов. Директор нашего завода воспользовался этим делом для того, чтобы в Москве немного пересмотрели кашалотские планы, из-за которых мы ночами бывало не выходили из цехов, а политические руководители стояли над нами и базлали: давай! давай! давай! Если вы читали книги "Малая земля", "Возрождение" и "Целина", написанные бригадой писак коммунистического труда, то вы можете составить легкое представление о тех, кто считал себя и считает пупами прошлой войны и пупами восстановления разрушенной промышленности. Этим политическим руководителям, дорогие, казались, что если бы не они, то мы - солдаты - не шли бы в атаку, не загибались бы в окопах, не спасали бы без илнего воя давай! давай! давай! нашу страну от фашизма, а победив его, сидели бы сложа руки на заиндевевших станинах, почесывая жопы, и ничего не восстанавливали. Так, что ли? Выходит, они не надеялись на нашу совесть? Выходит, в глубине души они чувствовали и чувствуют, что если рабочий класс, крестьян и солдат перестать вдруг подгонять и держать в страхе, то мы вдруг задумаемся над тем, что происходило и происходит, задумаемся и засомневаемся, глядя на падение нравов, всероссийскую пьянь и вымирание продуктов, а существует ли на самом деле у нашей прославленной партии коллек-

тивный разум и цель? Почему на словах у нее в газетах одно, а у нас на глазах другое: туфта (запишите это слово) на каждом шагу, ошалелая, с глазами, вылезшими на лоб от напряженного поиска очередной параша, пропаганда и - давай! давай! давай! вперед к коммунизму, создадим для него материальную базу! Я вам клянусь, дорогие, что ни парторги, ни министры, ни кегебешники не верят ни в какой коммунизм, что их, как и нас, рабочих, подташнивает от этого давно издохшего слова, а весь их коллективный разум занят только одним: как бы подольше продержат нас в узде, как бы отвлекать нас почаще от трезвых мыслей всякими империалистами, сионистами, китайцами и светлым будущим, чтобы, не дай Бог, не прочухались мы наконец, не стукнули бы все тем же местом по столу и не сказали бы во гневе: все это - туфта! Туфта и ложь, дорогие политические руководители, и вам это известно давно. Давно и лучше, чем нам. Но вы и себя и нас заставляете служить тому, в чем разуверились. Только у вас от этого служенья дачи, ватаги шестерок, свой собственный курс рубля, дармовая житуха, а у нас каждый день на хребтине сидит ваш давай-давай и давай-даваем погоняет. И вот что говорит, дорогие, по этому поводу мой лучший друг Федя. Он говорит, что если бы держиморды-политруководители, отлично понимающие, что никакой впереди не маячит нашему народу коммунизм, перестали вопить давай-давай и слава КПСС, то у народа, чувствующего прекрасно, как его одурачивают и седьмой уже десяток приделывают заячьи уши, опустились бы безусловно руки и взял бы он в них или стакан с сивухой, чего и сейчас не упускает, или дрыну дубовую, которой бы изметелил нечистую силу и сказал "Позор КПСС! Слава Богу!.." Извините, я забылся и разошелся. Теперь мне легко разбушеваться на бумаге, а ведь я молчал всю жизнь, молчал, говноедина, тюрьмы боялся, национальности своей боялся и, страшно теперь подумать, стыдился, работа, труд карусельщика были для меня, как и для всего работающего народа, опiumом, и нам десятилетиями за наш нечеловеческий беззаветный труд подкидывали на грудь железки с ленточками вместо нормальных условий человеческого существования. Кончу эту вторую главу первого моего письма к вам тем, с чего начал. Говном я был, что молчал. Надо было лучше отсидеть, чем держать полвека язык в одном месте, но выйдя на волю, живя на воле, помирая, наконец, знать: даже черти, Давид, уважать тебя будут за славный, хотя и грешный характер, когда они начнут разводить чертовский синий огонек под казаном с постным маслом. Напишите, можно ли в Лос-Анджелесе купить казан и что вообще в Америке слышно с постным маслом. Возможно, Федя шутит, но он говорит всерьез, что это у нас от не хера делать все лузгают семечки, а Америку они давно довели бы до полной безработицы и кризиса.

Не прощаясь, перехожу к первой главе моего второго письма или к третьей главе письма первого, что в общем, согласитесь, одно и то же. Вы помните, приехал за разрешением Вова? Он получил по морде, ибо с отцом нужно разговаривать не телефонным разговором, а по душам, за рюмкой водки, под селедочку и колбаску, привезенную из Москвы. Вы знаете, почему колбаса, которой в нашем городе нет, называется отдельной? Потому что она отделена от на-

рода. Но вы ничего этого не поймете, пока не возьмете Белый дом, как мы в свое время взяли Зимний дворец, не поселите в нем политических руководителей и не дойдете за полвека, вроде нас, до самой ручки. Вот тогда вы поймете, что такое отдельная колбаса. Ну, вышел Вова из сортира. Я обнял его и говорю: что же не сидится тебе на месте, сынок? У тебя же докторская диссертация на носу, квартира, машина, дачка есть, пусть маленькая, но тихая и вся в цветах, так что вам с женой не сидится? Что ей-то, русской бабе, делать в Израиле? Ведь бегут из него евреи обратно. Я по программе "Время" своими глазами видел. Так вот, отвечает Вова, если нажраться гороха с ржаным хлебом, то воздух в комнате будет чище, чем при показе программы "Время". Тебе не остообенело, отец, смотреть, как вожди вручают друг другу орден, звезды, сабли и медали? Как они лобызуют друг друга на аэродромах? Не надоело? Кишки еще тебе не заворотило от голосов неуваждаемых дикторов, сообщающих, что на шахте "Ленинская" выдана на гора столько-то миллионная тонна угля? Что фабрика имени Ленина дала стране сверх плана массу тысяч метров ситца, которого и днем с огнем не сыщешь в магазинах? Ты не очумел от ежедневного переваривания каких-то абстрактных тонн, километров, гектолитров, штук, человеко-коек и поросят-дней? Не очумел? Я лично очумел. Но дело не в телепрограмме "Время". Это дерьмо можно и не смотреть. Дело в том, чего уже нельзя не видеть. Я еврей. Мы две тысячи лет гуляем по морям и океанам, осваиваем чужие города и веси. Пора возвращаться мне лично туда, где начинали жизнь на земле мои пращуры. Пора. Если в этой стране сами русские перестали чувствовать себя хозяевами своей жизни и культуры, если уж возникло в самой России националистическое движение славянофилов, то евреям, на мой взгляд, делать в ней нечего. Нужно либо помогать истинно русским людям избавляться от трупной заразы коммунистической идеологии, почти уничтожившей их национальную самобытность, то есть становиться профессиональным диссидентом, либо начать жить жизнью своего народа, на своей исторической родине, в своем государстве, можно, конечно, продолжать жить, как жил, мириться с унижением, когда тебя фактически вышибли из науки, закрыв доступ в лабораторию, и подозревают к тому же в готовности продаться ЦРУ за пару джинсов. Есть, очевидно, еще несколько способов более-менее сытного существования, но они не по мне. Я лично, отец, говорит мой сын Вова, в гробу их видал. Старшие твои братья надеялись обрести на века новую родину взамен утерянной, когда Ленин соблазнил Россию на самоубийственный бунт и строительство царства Божьего на земле. Один твой брат выхаркал легкие на Лубянке, другой замерз на Воркуте. Наверно, не в их силах было тогда понять, что происходит. Зато в наших силах не только понять, понимать-то в общем уже нечего, но и действовать, а не задыхаться в стране, просмердевшей насквозь от лжи и социального разврата своих мелких и крупных руководителей, наших надзирателей и работниковцев. Вот тебе мой нетелефонный разговор. Давай выпьем, отец!

Вдруг, дорогие, я зарыдал, вернее тихо заплакал, уронив свою дурацкую старую голову на руки. Я плакал от обиды и презрения к себе, ибо Вова сказал иными словами то, что мне давно уже стало

ясным благодаря честным наблюдениям за жизнью и урокам лучшего моего друга Феде. Он сказал, а я десятки лет молчал, потворствуя лжи, и грудь моя покрывалась ничтожными железками, и лицо мое улыбалось с доски почета. Всем этим политические руководители платили мне и подобным мне замечательным работягам за молчание и высокопрофессиональный труд. Я плакал не как еврей, а как человек, как один из тех, кто вынес и фронт, и разруху, расплачиваясь за ошибки коллективного разума, который партия помещала то в ленинскую голову, то в сталинскую, то в хрущевскую, то в брежневскую, здоровьем, досугом, семьей, отлучением от правды жизни и Бога. Да, дорогие, Бога. Он не умирал в моем сердце, благодаря ему в крови войны и в дерьме пропагандистских кампаний я оставался и остаюсь, верьте мне, человеком добрым, веселым, не предателем и не вонючим жлобом. Я согласен был со всем, сказанным Вовой, хотя при упоминании о земле пращуров ничто не шевельнулось в моей душе, для которой самым любимым местом на земном шаре всегда была опушка старого леса на берегу Оки и дубовая коряга, отшлифованная моей задницей за сорок пять лет счастливых и так себе рыбалок. Но хватит плакать, сказал я сыну, разрешения ни я, ни мать тебе не дадим. Ты серьезно говоришь? - спросил Вова. Он побледнел на моих глазах, и Вера - эта старая курица - заклохоталась, затрепыхалась, принесла валокордин, который нам прислали из Вильнюса, ибо в наших аптеках его не найти. Не бледней, добавил я. Тебе тридцать три года, а ты уже бледнеешь. Что же будет через десять лет? Паралич? Лучше бледнеть, чем краснеть, говорит Вова, намекая, конечно, на меня. Выпейте и закусите, говорит Вера, разрываясь между мной и сыном. Мы можем выпить, отвечаю, в этот момент и зашел к нам мой лучший друг Федя, но разрешения я ему не дам. Вова вежливо захотел узнать почему, но глаза его в тот миг были глазами не сына, это были чужие и враждебные мне глаза. Вернее, я дам тебе разрешение, добавил я, но не раньше, чем через полгода. Я имею право за свою жизнь и стаж спокойно уйти на пенсию, хотя лет до семидесяти я на нее уходить не собирался. А вот выйду когда и провожу вас всех к чертовой бабушке в Израиль и закручу роман с крановщицей Лидой, она меня уже целый год кадрит. Вера, конечно, в слезы. Поделом. Я знаю, что если не я, то эта курица все первая оставила бы в нашем сраном городе и голая полетела бы за Вовой и внуками хоть на край света. Тут Федя тоже выпил и спрашивает, поняв, что тут у нас происходит, почему я связываю разрешение с выходом на пенсию. Потому что, говорю я, весь цех, не говоря уже о заводе, хочет с почетом проводить меня на пенсию. Но какой же почет и веселая выпивка, если вдруг разнесется слух, что мои дети уезжают в Израиль. Значит, и я скоро намылюсь туда же? Парторг скажет: сколько волка ни корми - он все равно в лес смотрит. Вот пускай его торжественно выпроваживают на пенсию в том самом лесу все те же самые волки. Вот как будет. И не видать мне, как своего носа, на старости лет малюсенького садового участка с домиком, подаренного заводом своему лучшему карусельщику. Зачем мне напоследок такая карусель, Федя? Разве я не прав?

Федя выпил и отвечает: евреи, сломя голову бросившиеся в революцию, надеялись обрести при социализме вторую землю обетован-

ную. Теперь евреи намылились в Израиль. Следовательно, социализма не существует. Это, конечно, шутовская логика, говорит Федя, и я ее, как всякую логику, ебу, потому что за бортом силлогизма (сам я не знаю, что это такое) осталась кровь десятков миллионов людей, населявших новую большевистскую империю, мозги, выбитые еще из многих миллионов простаков, уцелевших от ленинско-сталинской бойни, за бортом этого силлогизма остался счет за погубленных и затравленных гениев, за грыжу, нажитую рабочим классом на авралах и трудовых вахтах, за начисто истребленное дворянство и дегенерировавшее изнасилованное крестьянство. Всего сейчас не подсчитаешь. Это мы на нарах, бывало, подсчитывали, подсчитывали, баланс пробовали подвести, соотнося обещанное с содеянным, волосы на головах наших вставали дыбом и души отказывались относиться к происходящему злу, рядившемуся в добро, как к явлению закономерному и нормальному, души наши замирали, сжавшись в комочек, чтобы хоть на миг быть подальше, подальше от холодного страха сумасшествия, дьявольщины и удущья.

Вот, дорогие мои, как говорил лучший друг моих дней Федя. Я не выпустил ни одного слова из его речи, потому что промолчав всю жизнь, я таки нажил себе отличную память. Что нажил, то нажил. А если вас действительно интересует, что именно я нажил за свою рабочую жизнь, то я вам отвечу так: у нас с Верой есть два гардероба - моя голова и ее попа. Не буду уж употреблять более сильного и точного выражения. Почему у нас всего два этих гардероба? Потому что мы никогда не копили и все отдавали детям. Даст Бог, поговорю когда-нибудь с карусельщиком такой же высокой квалификации, как у меня, что работает на Форда. Я спрошу, что он себе имеет с женой на старости лет. Я примерно догадываюсь, мы с Федей не раз это прикидывали, но я спрошу брата по классу лично и тогда pošлю открытое письмо в наш цех, газету "Труд" и, возможно, в "Пионерскую правду", чтобы дети еще в школе знали, насколько были нищими по сравнению с американским или шведским рабочим я и подобные мне замечательные карусельщики и прочие станочники.

Тут мой Вова говорит: дядя Федя, а вы сами свалить не хотите? Все будет просто. Но Федя, не думая, ответил: нет, Вова. Мне поздно сваливать. Я уже не борец. Укатали они меня, падлы, как надо. Почки барахлят, ослепну скоро к чертям собачьим, а то, вероятно, махнул бы с риском потерять навек эту землю, такая бешеная обида у меня и ненависть к скотоподобным рабам и к сосушам из них кровь хозяевам. Куда уж мне. А ты, Вовка, линяй. Все равно житья вам здесь, пока эти старые свиньи хари стоят у кормушки, не будет. Им выгодно, сам понимаешь, кроме всего прочего, пудрить наши разболтанные мозги мировым сионизмом, подрывной жидовской деятельностью и иной низкопробной падалью. Поезжай, живи, работай, расти нормальных детей, старый хрен даст тебе разрешение, куда он денется?..

Только после того, говорю, как я выйду на пенсию и друзья соберутся в клубе проводить меня, выпить и закусить. У меня есть на банкет триста рублей, и если я задумал угостить людей, то можете не сомневаться: я угощу, и нет таких сил и стихийных бедствий, которые сорвали бы этот мой хранящийся в сердце план.

Нет! Так я сказал, и Вера выразительно посмотрела на своего цыпленка Вову в знак того, что я прав, а он не забеременеет, если дождется моего выхода на пенсию и пирушки с друзьями. Но со стороны лучшего друга Феди была сделана успокоительная дипломатия. Он предложил замять наш разговор, выпить, закусить и припомнить под римку старые славные и проклятые дни, ибо чувствует он, что скоро простится навек с Давидом, то есть со мною, но не в том смысле, что я врежу дуба (перепишите это выражение, дорогие), а в том смысле, что уеду из нашего засраного, полуголодного, посиневшего от "солнцедара" промышленного города. Уеду, и с каждой минутой это становится ему все ясней и ясней. И как ни тяжело, как ни пусто, как ни смертельно грустно будет ему здесь без его лучшего друга Давида, он не то чтобы советует мне литься в Израиль, но категорически велит подовать на выезд. Если уж даже мы, русские, не хозяева своей родины, а энцефалитные клещи - политруки, сказал Федя, которых подшпоривает какой-то дьявол, соблазняет плюгавое властолюбье и жизнь на халявную, то вас они, твари, затравят постепенно, чтобы быдло заводское, институтское, чиновное, пивное и квасное хавало вместо вкусной и здоровой пищи старого, к тому же вонючего, козла отпущения... Я даже захохотал от такого выступления. Как не захохотать, когда в голове моей не было ни стружечки от мысли куда-нибудь на старости лет, за пять минут до пенсионного покоя ехать. Не было, и все. Тот факт, что едут другие, касался только их, а не меня, и я не судил их, как некоторые знаменитые евреи, выступавшие однажды по телевизору: генералы, гнусная рожа в очках из "Литературной газеты", актрисулька, балерина, начальник из Совмина и прочая шобла. Шобла по-нашему означает неприличное общество, в котором лучше всего не показываться. В общем, я захохотал и говорю: рано ты меня, Федор Петрович, хоронишь, рано. Никуда я не поеду, а будем мы с тобой рыбачить зимой и летом, а осенью грибки собирать, сушить, да в Москву возить продавать. Будь здоров, старая коняга! Усмехнулся Федя как-то странно, жажнули мы (выпили) еще бутылку и вспомнили такое, чего ни Вера, ни дети мои не знали не то что в подробностях, но до гроба не догадались бы, что я способен на авантюры всесоюзного масштаба.

Во второй главе второго тистма (за это время Вова уехал в Москву не солоно хлебамши и понял, что если я сказал, например, приду в пять, то я приду ровно в пять, не раньше и не позже, и нет на свете силы, способной помешать мне распорядиться временем собственной жизни). Хотя вы убедитесь позже, что силы такие, к сожалению, имеются, что мы их опять-таки... что мы совершаем, так сказать, с ними половые отношения, а они с нас не слазят. Не слазят, сволочи. Некоторые люди брыкались бывало, вскидывали задницы, как кони под ковбоями в том фильме, ржали, хрипели, грызли удила, кровавую пену с губ схаркивали, разбегались и останавливались словно вкопанные, на всем скаку, но когда удавалось самым отчаянным, свободным и непокорным вышибить из седла какого-нибудь сраного бюрократа или политрука, их снова оседливали и рвали удилами губы до тех пор, пока они либо не валились с ног, намертво запарившись, либо не демонстрировали в конце концов чу-

десной выездки. Я, дорогие, кое-что в лошадях понимаю. Так вот, во второй главе второго письма вы узнаете то, чего вы никогда не узнали бы ни из наших газет, ни из книг, написанных по указке Брежнева, который по сравнению даже с таким бумагомаракой как я выглядит словно этот губастый слюнтяй Роберт Рождественский, если на него в лупу глядеть, перед памятником Пушкину. Я же все-таки сам пишу мысли в воспоминания и не хвалясь при этом перед всем земным шаром: вот я какой вумный, а вы все, писатели, говно собаچه, лентяи, пьянь и дачевладельцы, за вас сочинять приходится то, за что вы сотни тысяч уже прожрали, прорвы, и пропили, не по-партийному это, не по-хорошему...

Впивали мы, в общем, тогда, закусывали чем Бог послал и тем, что Вова привез из столичного гастронома "Новый Арбат", смотрел я на Федю, чубастого еще в свои шестьдесят пять, но худющего, как скелетина, неизвестно чем вдыхающего (нет одного легкого) кислород, переваривающего (резекция желудка) нашу керзовую ежедневную пищу, выводящего из бедного тела (отбитые следователями почки) пиво, водку, квас, чай и холодную воду, жующего, однако, своими съёмными протезами весело и молодо, как годовалый волк, резиновую грудинку, смотрел и думал с теплотой, удивлением и любовью: я знаю, Федя, отчего в тебе душа не только держится, но и торжествует, знаю! Ты старая, больная лошадь, и губы твои забыли, что такое улыбка, потому что разодраны они ржавыми колючими удилами политруков и зашиты грязными лапами лагерных лепил, но если бы все твои следователи выдавили тебе к тому же глаза и вырвали язык, все равно любой мало-мальски душевно грамотный человек не мог бы не почувствовать исходящую от твоего существа, изуродованного якобы самыми человечными изо всех прошедших по земле людей, благодарную радость жизни, и даже безъязыкий, ты говорил бы им всем: держитесь, мужики, держитесь, не унывайте, пока живы мы еще, всем чертям и бесам мира с нами ничего не поделать, а если помрем, то не поделать тем более. Держитесь, оставаясь людьми, держитесь, бесконечно униженные насилем, произволом, хворьями и голодухой, держитесь - и тогда десяти сталиным и шести советским властям не выжечь души, как бы неистово ни пытались они сделать это, ни в человеке, ни в народе. Вот как говорил ты и, говоря, не просто трепался, но ты победил, ты не продался бесам, ты поэтому весел и ты еще шутишь, что твоему ангелу-хранителю повезло, ибо самому тебе и без него уже ничего не страшно. Вот, дорогие, каков лучший друг моих дней Федя. Но они не прощали ему ничего. И они его схавали (съели) однажды, буквально съели. Помните, как он сказал парторгу завода: давай-давай в Москве х...м подавился, до сих пор отрыгнуть не может. Он так сказал, потому что видел всю туфту и нереальность завышенных планов реконструкции завода. Он так же, как все мы, впрочем, видел, каких нечеловеческих усилий требуют от нас парторги и начальство, чтобы не обосраться перед Сталиным за выданные без нашего рабочего ведома обещания. Он ведь великий инженер, золотая голова на плечах, которая думает всю жизнь о других, а не о себе, он ругался, он ругался, предупреждал, предлагал разумные решения для выигрыша времени, экономии средств и жил рабочего класса, и именно потому, что он был во всем прав и это стало

очевидным, его взяли. У них, мерзавцев, был один выход, чтобы не обосраться перед Сталиным и не полететь из своих партийных кормушек обратно на производство. Этого они бздели (боялись), дорогие, больше всего. И его взяли. Как вы думаете, что Феде в конце концов пришили? Вначале поясню о нашем прошлом, о фронте, который мы с первого до последнего дня войны прошли вместе. Федя - командиром полковой разведки, я - простым разведчиком, но бесстрашной чумой, как называли меня друзья. Они думали, что я смелый, но это было не так. Просто я от страха заболел потерей чувства опасности, и мне уже было море по колено. Поистине только Бог спасает таких безумцев, как я, от ран, не говоря о смерти. Так вот, однажды наш командир сделал ошибку (на войне, как у вас на бирже: иногда всего не угадаешь), пошел на зорьке на рыбалку (было затишье между боями) и анекдотически попал в плен. Я тоже был на рыбалке, но без автомата и к тому же сидел метрах в четырехстах от Феде, над сомовым омутом, сома мне очень хотелось поймать перед тем как погнубуть в очередном бою. Сидел без оружия, нарушая многие статьи устава, и ничем Феде помочь не мог. В тот момент ничем. У меня хватило ума не поднимать шума, бросить к чертовой матери удочку и сома, который, сволочь, как раз очень клюнул, но сердце мое оборвалось не от удачной поклевки, а от глупого вида Феде - товарища капитана, уводимого четверьмя здоровенными амбалами в сторону фашистских траншей. Кстати, лучше бы я погиб, чем видеть такое. Что бы вы сделали, интересно, на моем месте в такой боевой обстановке? Не ломайте, дорогие, зря головы. Не додумаетесь. Наш командир шел как убитый и шатаюсь. Очевидно, его грохнули по голове прикладом, оглушили как рыбу, и я теперь думаю, и холод от этих мыслей охватывает мою душу, неужели так будет до конца времен, что щука, например, ловит маленькую рыбешку, мой командир ловит эту несчастную щуку, немецкие разведчики, в свою очередь, ловят такую щуку фронтовой разведки, что им и не снилось, причем ловят, как тупые везунчики, а не бывалые рыбаки. Они ловят, хохочут от удачи, выкручивают Феде руки, дают поджопника, они рады, словно дети, поймавшие голыми руками акулу в городском пруду, а Федя, очевидно выигрывая время и рассчитывая на то, что его "рыбаки" вряд ли начнут пальбу поблизости от нас, вдруг вырвался, побежал и начал игру в "салочки", вы бы видели эту сцену, так она была смешна и ужасна. Выход у меня был один, ибо Федя не барнаулил (любимое слово штрафников воров-рецидивистов: означает - не кричал), давая мне понять, чтобы я затрепыхался, если я на воле, а он в садке, и правильно полагая, что немцы не преминули бы прошить его очередью, когда бы он засветил их криком поблизости от наших. Последнее, что я видел, пулей метнувшись к лесу: снова взятого Феде связывали и делали что-то вроде носилок, ибо сам он, как я понял, идти пешком в плен не собирался. Это было бы для них слишком жирно. И вот теперь я вам признаюсь в том, чего не знает ни один человек на свете, ни Федя, ни Вера, ни дети, при воспоминании о чем я краснел и мучался, ибо я думал и думаю, что я - уродина, каких больше нет, и мне снова становится смертельно стыдно. Пусть дрожь пробежит вас, когда я скажу, что я сделал и, может быть, от содроганья вы даже не ответите мне и не захотите

увидеться с таким уродом, но я все-таки скажу, потому что я, в отличие от Брежнева, пишу сам, и если уж пишу, то буду говорить всю правду, какой бы ни была она для меня уничтожающей и жестокой. Несмотря на ужас случившегося, лишивший меня в первый момент на какое-то время сознания, знаете что я делал, пулей летя по лесу? Приготовьтесь выслушать правду. Я тогда смеялся! Да! Я хохотал, не понимая происхождения такого смеха, относя его к пошлостям, потрясеню, уродству своей души. Ведь надо было не смеяться, как от еврейского анекдота, а рыдать на весь брянский лес, чтобы кровь леденела у живых существ от моего горя и ужаса. Но я летел и задыхался от смеха. Приступы хохота вдруг пощадили меня, но когда я снова представлял, как мой командир (впоследствии оказалось, что так оно и было на самом деле) говорит немцам: ну, уж хуюшки, ребята, своими ногами я в плен не пойду, и немцы, вынужденные с этим считаться, несут его на своих хребтинах (плечах), наживая грыжи, не бросать же на дороге такую добычу, такого задарма доставшегося осетра, веселый смех снова одолевал меня, и не он ли в конце концов, спасая душу от отчаянья, придавал мне сил и помог, тогда же на бегу, выбрать для спасения командира и своего лучшего будущего друга возможно единственное правильное решение из всех, что, несмотря на хохот, разрывали мозги на части. Я растряс дрыхшего переводчика, засунул его, как kota в мешок, в фашистскую генеральскую форму, умоляя ни о чем не спрашивать, ибо будет поздно, я все расскажу по дороге, сам напялил на себя свой фельдфебельский мундир, схватил автомат, пару пистолетов, никто, между прочим, так и не проснулся, все дрыхли между боями по-чапаевски, и мы полетели наперерез, через хилый березняк, минуя еловую дремучую чащу, слава Богу, все под гору, под гору, и упредив немцев, поспели-таки им навстречу. Увидев из-за кустов, как они плетутся, меняя руки, смахивая со лбов взопревших пот и зло уговаривая Федю идти своими ногами, на что он отвечал им излюбленным жестом руки, я снова задохнулся от хохота, но это уже были последние его спазмы. Теперь надо было безошибочно и артистично, чему нас, разведчиков, всегда учил наш командир, делать то, что виделось мне единственным выходом из положения, причем избегая боя, оставляя смертельный бой на самый худой конец, напоследок. На душе у меня стало светло и легко. Даже бой, даже смерть в том бою, наша и командира, была бы уже победой. Только не плен, Федя, только не плен, такой нелепый, смешной и, наверное, позорный. Я говорю, дорогие, наверное, ибо в жизни нашей частенько случаются такие неподвластные мудрому и осторожному предусмотрительному вещи, что определять их чисто по-прокурорски и по-комиссарски, что одно и то же, просто неприлично. Позор не тем, кто подобно Феде случайно попадал в плен, а позор Сталину и его безмозглым жополизам, типа Ворошилова и Буденного, позор позору еврейского народа Кагановичу за то, что они, выродки, не упредили любимыми способами Гитлера и бросили миллионы моих братьев-солдат фактически на произвол судьбы, на окружение, плен и уничтожение. Вот кому позор! Помните это в своей Америке, когда вы миритесь с бандитскими штучками нашей компартии в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и в Европе, помните, дорогие, чтобы и с вами не повторилось то,

что пережили люди Страны Советов за свою историю. Но не будем уходить в сторону. Лучше вы взгляните на нас со стороны. Выглядит это представление примерно следующим образом: я двинул как следует по шее нашему переводчику, чтобы он перестал дрожать, как овца, от страха. Мы вышли из-за ельничка с полными фуражками белых грибов (их была тьма-тьмушая в том лесу), словно генерал прогуливался по старой привычке завязтого грибника в сопровождении младшего по чину, тоже якобы любителя собирать грибки. Автоматы свои немцы сложили на носилки, рядом с Федей, и были фактически безоружны. Рывкай на них, шепчу своему "генералу", рывкай, не то живым не уйдет отсюда никто, остальное сделаю я, рывкай! И наш переводчик Козловский, когда мы свалились немцам как снег на голову, рывкнул с генеральской раздражительностью: что за карнавал, сволочи, смирна-а! Бедняги и ужасные неудачники вытянулись в струнку, и мне этого мгновенья было достаточно. Ложись, стреляю! - заорал я безумно громко по-немецки. Солдаты бросились наземь. Я держал их на мушке автомата. Козловский перерезал финкой ремни на руках и ногах Феде и вытащил кляп у него изо рта - мерзко грязный носовой платок с вышитым в уголке пожеланием "Будь здоров, Франц!"

Вот за это я люблю жизнь, как сейчас помню, первым делом сказал Федя и пояснил, что он любит ее за неожиданную смену гибельных ситуаций спасительными и, если уж на то пошло, то и наоборот, иначе не было бы никому и никогда спасенья. Вторым делом он обшмонал (обыскал) лежащих немцев, забрал гранаты и пистолеты. Автоматы их перешли к нам. Козловский потирал руки и говорил, что все мы получим теперь по ордену Красного знамени, а возможно, по Александру Невскому первой степени. Но у меня и у Феде зануло в душе от нехороших предчувствий. Надеюсь, вы поняли, дорогие, чем это для нас пахло, если бы до командования, особенно до политотдела и гнусной контрразведки, дошла история с пленением Феде? Пока Козловский шмонал, в свою очередь, пленных, снимал с них, гнида, часы, кольца и отбирал сигареты, мы с Федей прикидывали, как нам теперь быть. Привести с ложными подробностями языков к генералу? Открылась бы самовольная отлучка из расположения части без оружия, но с удочками, пленение командира полковой разведки, дрыхшее без задних ног боевое охранение и так далее. Все это открылось бы, ибо немцы, мы прекрасно понимали, не преминули бы отомстить таким образом своим хитрым захватчикам. Я склонялся к варианту освобождения немцев. Пусть идут себе к чертовой матери обратно. Я в первом же бою верну такой большой долг фронту и убью на четыре-пять немцев сверх плана. В конце концов, обращались они с Федей вполне прилично, исключая сопливый платок Франца, который, между прочим, от страха наложил в штаны большую кучу и отвратительно вонял, дрожа на траве всем телом. Пусть, говорю, идут себе. Ведь они тоже любят жизнь за смену гибели спасеньем и наоборот. Ведь и на войне может быть место великодушью и широкому жесту. Я говорил так открыто и смело со своим командиром, ибо мы дружили еще со школьных парт. Такой вариант мне нравится, отвечал Федя, но неужели не ясно, что Козловский с ходу нас заложит за орден Красной звезды и тогда - каюк: расстрел или в лучшем случае штрафняк. Расскажу вам когда-

нибудь лично, что это за бесчеловечная сталинская мерзость, избретенная коммунистами. Да, подумал я, согласившись, такая мразь, как Козловский, заложит нас непременно, причем со всеми потрохами (кишки, внутренности). Интересно, как бы вы поступили на нашем месте, дорогие? Ликвидировали бы и фрицев, и Козловского? Не думаю. Если бы я мог эту сволочь не брать с собой, если бы не был мне мал генеральский мундир и если бы я знал немецкий язык, как знал его он, то конечно, я попытался бы все сделать сам, и тогда отпустили бы мы к чертовой матери четверых идиотов, посмеялись бы от ужаса страшного воспоминания и остались бы, как говорится, при своих. Однако если бы да кабы, то не было бы в России кэзэбы (наше гестапо). Пока мародер Козловский шмонал, не брезгуя, обосравшегося Франца, мы перебирали варианты и остановились на лучшем: героем вылазки должен стать Козловский, но Федя доложит начальству все, как оно было. Солжем мы только в одном: в преувеличении заслуг якобы смельчака и артиста - переводчика. Пусть он треплется в части и расписывает свою решающую роль во взятии четырех языков. Он был полный идиотина, и я на обратном пути внушил ему, что пленение командира всего-навсего инсценировка, заманка немцев в ловушку для того, чтобы не сделав ни одного выстрела и не выдав дислокации в лесу полковой разведки, захватить важных гусей из спецкоманды, обслуживавшей новый тип танка. Козловский, треплясь, будет таким образом у нас на крючке. В общем: одна версия, решили мы, для комполка, другая для солдат. Фрицы наши шли в плен не то чтобы охотно - они радовались, как дети, которых папы сняли с уроков и вели в гости. Францу пришлось прополоскать в реке свои штаны, сапоги и подштанники, но все равно несло от него дерьмом, как от деревенского сортира в сырую погоду. В общем, все тогда обошлось великолепно. Комполка, любивший Федю всей душой, орал, топал на него ногами, обещал сорвать погоны, отнять ордена и отдать нас обоих под трибунал, но потом налил нам спирта, сказал справедливо, что на войне все бывает и, если у вас судить, то судить надо кое-кого другого, на кого он сейчас не будет указывать пальцем. Безусловно, он намекал на Сталина - отвратительного и ненавистного предателя армии и страны. Я знаю, что именно так, с ненавистью и презрением относились к нему здравомыслящие, не отупевшие от вонючей пропаганды и большевистской лжи солдаты и офицеры. Все-таки мы тогда спасали родину. Сталина же, к нашему сожалению и к его счастью, спасли по дороге. Итак, кончилась наша трагическая рыбалка благополучно. Козловского комполка представил к ордену, повышению в чине и отправил в другую часть. Из следующей главы этого письма вы узнаете, что было потом, после войны, ибо написанное я должен сегодня отправить прямо в Вену с отъезжающими людьми. Не торопитесь понять, как я это делаю и почему я живу в Москве у Вовы. Всему свое время, да и читать мои письма, вероятно, интересней, если вы мучаетесь в догадках, а что же будет дальше, что? Более того. Я теперь начинаю понимать, дорогие, почему я всю жизнь жил и живу с большим любопытством, а порой и с азартом: мне безусловно интересно - что же будет дальше? Мы остановили на свою шею, оторвав средства от собственного народа, Китай. Теперь не знаем, как от него избавиться. Вкачали миллиарды

в Индонезию и просрали ее. Залезли в Африку, в Азию, запутались в бороде Фи. Кастро, мутим воду везде, где только она мутится, держим на штыках и под гусеницами танков пол-Европы. Мы орем на каждом шагу "да здравствует светлое будущее", когда с каждым днем становится все темнее и темнее. В нашем сраном городе, как и в тысячах еще более отвратительных городов, давно уже ни мяса, ни колбасы, ни масла не видно, не то что светлого будущего. Так что же будет дальше? Не дай Бог, думаю я иногда, впадая в уныние души, дожить мне до того дня, когда опять какой-нибудь умник залезет на мавзолей с полной кучей в маршальских штанах от страха и призовет, перед тем как спуститься в бомбоубежище, миллионы своих братьев и сестер, друзей своих расплатиться жизнью, кровью и нечеловеческой мукой за беспардонно глупую политику и ужасающие авантюры. Что же будет дальше, думаю я с еще большим унынием, когда я вижу толпы своих братьев-пролетариев у винных магазинов и пивных ларьков, где их единственная радость - распить с дружками портвейновую отраву, словить кайф, как они говорят, потреться о хоккее, чтобы потом, задряхнув у телевизоров, проснуться с отравленными сивухой и пивом головами и с красными зенками (глаза) переть в цеха, унимая по дороге тошноту, которую непременно вызывают с похмелья остоебеневшие (набившие оскомину) лозунги вроде "народ и партия едины", "социалистическая демократия - высший тип демократии", "слава труду", "слава КПСС". А когда я наблюдаю за пятнадцатилетними сопляками, за подонками с пустыми, оголтелыми, уже залитыми той же бормотухой глазами, наблюдаю за выражением бесцельности и бессмысленности на их лицах, полузакрытых длинными слипшимися, давно не мытыми патлами, когда вижу, случается, как нагло и по-свински они терроризируют девочек, нормальных парней и невинных прохожих, потому что уже сейчас для них самое сладкое наслаждение - чужое унижение и чужая боль, мне страшно думать: что будет дальше? Если наши политруки скажут им: во всем виноваты евреи, американцы, немцы, китайцы, чехи, японцы, румыны и египтяне! Бейте их, братья и сестры! - то безусловно эти скотоподобные существа, с душами, вытравленными в самом начале своей жизни мертвыми словами лозунгов и призывов, заревут, распаяясь от предчувствия крови и наживы, и затопают копытами в бешеном и злобном нетерпении. Не забывайте и вы там о своих детях...

Пожалуй, я лучше сразу начну *третье письмо*, чем играть в игрушки с главами, частями и так далее. Вы правы, дорогие, в намеках своего ответа на мое первое письмо, что у нас в стране, да и среди эмигрантов, развелось слишком много писателей и что для меня было бы полезней думать не о главах, а о серьезных вещах. Может быть. Но сначала нужно выяснить, что именно вы считаете серьезными вещами, а что таковыми считаю я. У любого из тех, кого вы обидно называете бумагомарашками, так наболело в душе и так приходилось держать десятилетиями язык в одном месте, что нет иной возможности избавиться от накопленных мыслей и чувств, чтобы от них не пухла голова и не разрывалось сердце, как посчитав себя для интереса писателями (все-таки, согласитесь, мы кое в чем остаемся детьми), взяться за перо и уйти с головой в лист

бумаги. Вы так же убедительно просите меня лучше относиться к городу, в котором почти родился, вырос и в настоящий момент прописан. Хорошо, что у вас хватило ума не повторять в ответе слово "сраный-пересранный". А вдруг я называю его так с большой любовью и жалостью? Что тогда? Вам всего этого не понять, и больше не злите меня в письмах молниеносными суждениями о том, в чем вы разбираетесь не больше, чем наши политруки в гуще жизни. Не надо. Затем Нохим и Циля просят меня прекратить рассказы о моем лучшем друге Феде, ибо он не интересуется их ни с какой стороны, и наоборот, Сэм и Джо умоляют сообщить, как развивались события впоследствии. Так вот, пусть каждый из вас читает интересные для себя места. Неинтересными можете подтереться. Пока на пятьдесят пятом году советской власти в нашем изумительном, в нашем лучезарном, сытом, приветливом, чистом и свободном городе не появилась каким-то чудом туалетная бумага, мы так поступали с центральными и местными газетами. Добавлю, чтобы не потерять основную мысль: не было в мире подтирки более мягкой, чем бумага из последнего собрания сочинений Сталина. Ее хватало нам на два, кажется, года. Сейчас нам иногда присылают туалетную бумагу из Москвы внимательные дети. Ее по-прежнему не хватает на жопу населения. Ну, вот что вы, зло меня сейчас разобрало, понимаете в нашей жизни, что? Вы можете себе представить следующее? В один прекрасный день исчезают из московских магазинов (мы отовариваемся в основном там) лезвия. Бриться нечем. Ходят всякие слухи. В том числе - все бритвы скупили евреи и переправили в Израиль резать горло арабам. На заводах начинают частным образом, из лучшей, почти драгоценной стали, делать опасные бритвы и торговать ими. Вдруг через год, так же непостижимо, как и пропали, проклятые лезвия снова наполняют прилавки. На моем веку блудными вещами становились: мясорубки, утюги, колготки детские, валенки, калоши, сигареты, копченая колбаса, свиная тушонка, мотоциклы, губная помада, презервативы (гандоны), вата (вы бы знали, как тогда мучались девушки и женщины), лыжи, нижнее белье, электролампы - всего не перечислишь. Я берусь утверждать, что не было на свете вещи, не исчезнувшей хоть раз хотя бы на короткий срок из продажи. Это явление наши вонючие газеты называют перебоями и трудностями роста. Нет такой вещи. Но ведь существуют теперь где-то, например у вас, вещи и продукты, даже не думающие попадать обратно в нашу мерзкую торговую сеть. Вобла, скажем, доверенные бублики с маком, необычайная колбаса "собачья радость", ратиновые пальто, ситец, теннисные мячики, речная рыба, тресковое филе, кукурузное масло и так далее. Федя, добавлю, считает, что вещи иногда, как и люди, не могут не чувствовать дьявольской природы советской власти и так называемого социализма. Им при этом или не хочется жить вообще, или они куда-то намыливаются (эмигрируют). Но хорошо. Перед тем как продолжить рассказ о Феде и его жизни, я поясню вам, дорогие, почему и как я оказался в Москве у сына Вовы.

Начиная с этого письма я решил устраивать абзацы. Пусть все будет как в книгах. Вы помните, мы тогда (я, Вова, Вера и Федя) выпили и закусили. Я настоял на том, что до выхода на пенсию никакого разрешения - ни формального, ни сердечного - Вове не бу-

дет. Он вошел в мое положение без обиды. Я же не отговаривал его вообще от эмиграции. Итак, он уехал.

Буквально через три дня меня вызывает к себе парторг. Сидит за столом, мерзавец. Не вышел, как обычно, навстречу, не приветствовал вроде бы по-свойски, бодро и весело: привет беспартийным передовикам. Нет. Наш парторг сверлил меня розовыми, горевшими в полутьме кабинета глазками, и у него по-крысиному подрагивала верхняя губка. Я не стал садиться. Спасибо, сказал я, постой, привык, работа у меня, сами знаете, стоячая.

А ведь ты, Давид Александрович, говорит крыса, оказывается, человек с двойным дном! Я ему отвечаю для начала так (ибо несколько не сомневался, о чем пойдет речь), прошу говорить "вы" и выражаться конкретней. Меня ждет станок.

Мы теперь знаем, чем вы, Давид Александрович, нафаршированы.

Последнее слово парторг произнес картаво. Ну и как, спрашиваю спокойно, фарш мой на вкус?

Антисоветчиной и мировым сионизмом от него попахивает, точнее разит, а если еще точнее - шибает! Вот у меня на столе запись ваших застольных разговорчиков. Передай я эту бумагу сейчас куда следует, и вы все четверо, включая вашу жену, сгниете в Мордовии! Вы думали скрыть от нас отъезд сына в Израиль!.. Вам бы сорвать последний куш с завода, наполучить подарков и уйти неразоблаченным на пенсию? Не выйдет, господа сионисты, вы ответите за все перед всем коллективом завода! Теперь я понимаю, почему ты не в партии, двурушник! Прикидывался простачком, пятилетки выполнял в три года, интересы рабочих в местном отстаивал, а сам небось осведомлял своих земляков о положении наших дел!

Не надо, говорю, запугивать меня, как пацана, не надо, я не мальчик и не знаю, что там в бумаге у вас написано.

Тут записана клевета твоего сына на Советский Союз и его бредни насчет возвращения евреев на историческую родину.

Ни о чем таком, отвечаю, помня Федину науку глухо ни в чем не сознаваться, говорено не было, а то, что Израиль и Палестина - историческая родина евреев, всем давно известно.

Нет! Историческая родина всех простых людей доброй воли - Советский Союз, а вы там трепались, что даже у русских нет теперь родины, что истребила ихнюю родину советская, дьявольская власть! Трепались? Нет, говорю, говорили только о хоккее и плохом качестве местной водки. Сами-то, говорю, небось в закрытом обкомовском ларьке берете? А что касается доноса, то за стеной у меня живет мразь, которую я побрезговал однажды раздавить двумя ногтями! Просто я харкнул ему недавно в рожу, как харкнул бы всякому подонку, издающемуся над женщинами и детьми. Вот к кому, говорю, вы прислушиваетесь! Вот как, добавляю, беседуете со старым карусельщиком, вот этими руками заложившим первые кирпичи в фундаменте завода. Говорите, чего вы от меня хотите, выкладывайте, чем вы сами нафаршированы!

Я, говорит крыса, нафарширован идеями Ленина, идеями коммунизма, а также решениями последнего съезда партии и октябрьского пленума ЦК КПСС. Я также нафарширован пролетарским интернационализмом, стремлением к разрядке напряженности и сохранению ми-

ра во всем мире. Наш народ не свернет со столбовой дороги истории. Вашему брату не повернуть историю вспять. Вам не заменить нашего передового фарша тем, чем нафаршировали вас сионисты и ЦРУ. Одним словом, через неделю, на заводском митинге в честь дня солидарности с народами Анголы и Мозамбика ты, Давид Александрович, должен выступить с угрозой в адрес мировой реакции, продажной верхушки американских профсоюзов, Пентагона и происков сионистов в нашем городе. Вчера еще пять любителей фаршированной рыбы подали заявления о выезде. Если ты, Давид, выступишь, учти, я тебе добра желаю, эта бумага пойдет в сортир. Я понимаю, что вещи там бездоказательны и дела с их помощью не возбудишь, хотя твой дружок Пескарев хорошо известен нашим органам. Мы думали, что он притих после отсидки и реабилитации. Мы ошибались. Он — настоящая пятая колонна нашего города. Так вот, если ты выступишь, извини, я был несколько резок, все же у нас сейчас идеологическая война не на жизнь, а на смерть, мы с почетом проводим тебя на пенсию и оставим в совете ветеранов труда. Я понимаю, что проработав всю жизнь на заводе, ты не имеешь ничего общего с мировой финансовой олигархией и еврейским капиталом. Тебя совращают в лице сына безыдейная молодежь и махровые антисоветчики, не простившие родине мелкой обиды, типа Федора Пескарева. Неужели ты хочешь оказаться среди отбросов истории, а не с нами, уже вступившими, как говорит Леонид Ильич, в первую фазу коммунистической формации? Чем плохо тебе при развитом социализме? Все у тебя есть. Есть у нас и трудности, но они общие. Это же прекрасно, когда у людей общие трудности.

Не надо, отвечая для начала, перебив крысу, зря трепаться. Ты ведь вчера с охоты примотал (приехал). Кабанчиков пару вы там с дружками и блядами уделали. Столбичной винтовой водочкой запили и черной икоркой до самых муде (органы) перемазались. Так что не ври, парторг. Нет у тебя с нами ничего общего. Все отдельное, от колбасы до санаториев, столовых, промтоваров и автомашин с персональными шоферами. И самое страшное для тебя и тебе подобной шоблы — не допустить ни за что на свете ликвидации этой отдельной жизни. Самое страшное для тебя — общая с народом жизнь. Я ведь помню тебя жалким сопляком, смахивавшим хлебные крошки в ладонь, в заводской столовке. Помню, как вроде кота терся ты об ноги цехового и заводского начальства. Помню, как распознав в тебе злобного завистливого и верного лакея, бывший парторг почесал у тебя за ушами и ты замурлыкал на теплой лежанке в профкоме завода. Помню тебя, выпрыгивавшего на трибуны всех митингов с выгнутой дугой спиной и шипением в адрес империализма, Солженицына, Мао Дзе-Дуна, Пиночета, Сахарова и Моше Даяна. Помню великий день твоей жизни, в августе 68 года, когда ты от нашего имени послал в ЦК телеграмму о готовности рабочих завода организовать военную дружину для отправки в Прагу, с целью спасения братского рабочего класса от все тех же сионистов и фашизма Западной Германии. На твое имя пришла тогда телеграмма от Суслова. Спасибо, мол, справимся сами. Но тебя заметили, ты стал парторгом завода. Ты наконец начал соблазнять баб поездками на охоту, шмутками и своим влиянием на ход городских дел. Так просто дать тебе невозможно. Ты жалок и пюгав. Все твои бляди получи-

ли без очереди квартиры, и мое преступление в том, что я, кое-что зная об этом, молчал. Проклят будь мой отсохший тогда язык. Ты, добавляю, нафарширован не ленинскими идеями, а удовольствием от сытой, бесплатной и праздной жизни. Ты понимаешь, что после всего сказанного мне обратного пути нет. Но хочу предупредить тебя, на митинге я могу повторить все и кое-что другое. Иных речей больше не будет. Ты понял? А если ты попытаешься сделать зло мне или Федору Пескареву, то список всех твоих злоупотреблений, вымогательств, шантажа, борделей, браконьерских штук будет отправлен в газету итальянских коммунистов "Унита". И тогда тебе, крысе, крышка. Этот список завел на тебя не я, но в нем есть и мои собственные свидетельства. Я не коммунист, слава Богу, мне плевать на дела вашей партии, но как честный человек я не мог не сообщить рабочему классу все, что знаю о тебе и твоём двойном дне. По головке тебя не погладят. Придется тебе жениться на Рите Шварцман из планового отдела, которой ты заделал ребеночка, и литься в Израиль. Впрочем, я напишу, чтобы такое говно не брали на землю обетованную. Сейчас я иду и подаю заявление об уходе на пенсию. Срать я хотел на твои посулы, садовый домик, будильник и самовар, который завод выдает своим престарелым рабам за выкачанные из них силы, здоровье и время жизни. Не нужно мне мизерных крох от всей моей многолетней прибавочной стоимости.

Крысенок (парторг на моих глазах превратился в него из крысы) быстренько соображал, как ему быть, что отвечать, слышал нас кто-нибудь или нет. Кроме того, сказал я, не вздумай мне пакостить. Я имею влиятельных родственников в Америке, торгующих с нами товарами первой необходимости. Не ставь под угрозу крупный товарооборот между нашими странами, иначе придется тебе покандахать (перебраться) из этого кабинетика обратно в цех, к шлифовальному станочку. Он скучает по тебе. Ты понял, засранец, старого карусельщика? Понял, что я не шучу?

Извините, дорогие, за то, что я выдал вас тогда за видных барышников (коммерсантов), но заговорила во мне вдруг бесстрашная кровь полкового разведчика, согрелась и забурлила, родимая, после долгих лет пребывания в холодном и свернутом виде, возмущилась от невыносимости выслушивать от какой-то крысы поучения, угрозы и блевотину партийных заклинаний. Я высказал ему свои мысли тихим, спокойным голосом, не удивляясь почему-то своей безрассудности, риску и тому, что так легко я порываю с заводом, откуда, казалось, только смерть или жуткая хвороба прогонят меня на пенсию, на заслуженный отдых.

- Разговор у нас состоялся серьезный и откровенный, - говорит крысенок, беря себя в руки и снова превращаясь на моих глазах в крысу. Правда, в слегка потрепанную, слегка ошпаренную кипятком моих слов, но все-таки в жизнестойкую, злобную и упрямую крысу.

- Из этого разговора мне стало ясно одно: вы, Давид Александрович, собрались уезжать, - продолжает парторг.

- Да, - подтверждаю, - и послезавтра еду...

Вы бы видели, как он вылетел от изумления из-за стола, как захопал веками, красненькими веками без ресниц и переспросил: В Израиль?

- Нет, - отвечаю, - на рыбалку я уезжаю. Порыбачу и вернусь. В Израиль я пока не собираюсь.

- Жалею, - говорит, - что не раскусил вас вовремя, очень жалею. До свиданья. - И на этом тот наш разговор кончился.

Что вы на это скажете? Бывают у ваших рабочих подобные разговоры с представителями демократической и республиканских партий? Сомневаюсь... Дома обо всем молчу... Жена чувствует, конечно, дурноту положения, но виду не подает, ни о чем не спрашивает, ухитряется, как японка, ежедневно делать из риса несколько блюд, ибо в магазинах - шаром покати: ни сыра, ни масла, одна скумбрия консервированная и овощное дерьмо в банках, от которого возникает гастрит, переходящий, как стало известно многим жителям нашего города, в язву желудка. К тому же прошли праздники. Перед ними на каждую семью выдали по талонам кое-что из жратвы: вареную колбасу, ржавую горбушу и по килограмму жирной свинины на рыло (лицо). Поэтому торговая сеть после праздников обычно компенсирует свои предпраздничные широкие и даже купеческие, на ее взгляд, жесты. Пусто в магазинах. Разумеется, можно было съездить в Москву, набрать продуктов, но это потеря двух выходных, стояние в очередях, тоска электричек и так далее. Взяли мы с Федей рыбацкие монатки, казанок, картошки, лука, поллитра "Старорусской" (наша новая водка), хлебушка, квашеной капусты, соленых огурцов, достали мотыля (наживка), одели свои телогреечки и намылились (сбежали из города) на родину нашу Оку.

Ах, как тогда, дорогие, клевало! Как клевало! Подлещики походили с ума от весны и заглатывали просто голые крючки. И до чего же это прекрасно, если бы вы знали, нормально поработав неделю, рыбачить и не думать ни о чем, расслабившись над поплавком, ни о пустых магазинах, ни о парторгах проклятых, ни о несправедливостях нашей жизни, когда продавцы и завбазами ходят, воруя, в бриллиантах и ондатрах (мех), а нас оболванивают байками про коммунизм и тошнотворной трепней про пятилетку качества, эффективность производства, светлое будущее и широкий размах социальное соревнование. Ведь мы для того, чтобы не рехнуться, привыкли за многие годы пропускать мимо ушей весь этот бредовый треп, за который высшие и мелкие партийные трепачи сидят по пояс в черной икре и пускают в потолок из двух ноздрей фонтаны советского шампанского. Точно так же я привык спать в нашей квартире, окна которой выходят на рычащую днем и ночью улицу, привык не замечать грохота трамваев и шума машин. Я думаю, и в этом меня уверяет Федя, что ваши рабочие (если они не безработные) живут каждый день так, как мы иногда, не в худшие дни своей жизни, рыбачим. Отработали и предоставлены сами себе. Никто их не дергает ни на митинги, ни на агитпункт, ни на трудовую вахту в честь дня пограничника, ни на субботники бесплатные, ни в ленинский университет миллионов, ни в дружину вылавливать на вокзале малолетних проституток и фарцовщиков (спекулянты джинсами), никто не морочит их по радио и телевизору навязшей в зубах за рабочий день тяготиной насчет поиска дополнительных резервов. Так ведь у вас или не так? И когда же, черт побрал, мои российские братья по классу заживут наконец жизнью нормальных людей, по достоинству зарабатывающих, питающихся и отдыхающих, а не вы-

травливающих сивухой из своих голов и душ веру и здоровье. Извините. Я снова отвлекся. У кого что болит, тот о том и говорит.

Рассказал я тогда Феде о своей беседе в "верхах" с парторгом. Плохо дело, сказал Федя. Как был ты, Давид, наивной дубиной, так и остался. Ты думаешь, говорит Федя, что он, испугавшись твоих угроз, отстанет от тебя и забудет о твоём существовании? Не бзди (это слово здесь непереводимо, но оно значит - не воняй), не отстанет и не забудет. Он начнет изводить тебя, идиота!

Ничего, говорю, не изведет. Он не страшной войны!.. Тут Федя начал мне объяснять, что страшной, да, страшной войны вот такая партийная крыса и что я не академик Сахаров, которого КГБ радо бы испепелить в крематории или сшибить машиной. Меня в два счета сотрут в порошок дружки парторга из областного управления ГБ, милиции и местных бандюг. Сотрут, и ни одна "БИ-БИ-СИ", ни один "Голос Америки" не скажут обо мне ни слова прощания.

Хватит, сказал я, не будем портить себе нервов и рыбацкого настроения. Но Федя, ужасно расстроенный, стал придумывать для меня спасительные планы. Я должен моментально уволиться, хрен, говорит, с ними, с проводами на пенсию, и переехать в Москву к Вова. Квартира у него большая. Там я буду жить-поживать, ходить в мавзолей, музей Ленина, революции, копченой колбасы и тихоокеанской селедки, которая вдруг исчезла из продажи даже в Москве. Нет, отвечаю, это не по мне, Федор. Ты увидишь, как все будет наоборот. И что ты посоветуешь делать, когда уедет Вова? Ах, я вернусь обратно в наш прелестный город, в наш маленький Нью-Йорк? Но зачем мне тогда уезжать в Москву? Для того, чтобы возвратиться? Глупо. Ах, затем я сам подам документы и махну на все четыре стороны! Спасибо. Я стар, Федя, для авантур и путешествий, да и от тебя я никуда не уеду. Если ты сам не зарубишь себе этого на носу, то придется зарубить мне за тебя вот этой кулачиной старого карусельщика. А ты знаешь, на что она способна. Не будь моим парторгом, говорю, не будь, не ставь свою голову, при всей ее замечательности, мне на плечи, не то я с тобой ухаживать не стану. После этого мы рыбачили на расстоянии друг от друга, чтобы не бухтеть (не болтать) и не пугать доверчивую рыбу. Потом молча варили уху, молча выпили по стопке, молча похлебали изумительную юшку, а после второй стопки снова разговорились. Я успокоил Федю относительно себя и заверил, что все будет о'кей, как говорят мои внуки, и неужели он не помнит, как я выкарабкивался из заварушек (ситуаций) почище, чем нынешняя. Неужели он забыл мои сумасшедшие рейды на Воркуту и в Сибирь?

Как хотите, дорогие, а *вторую главу моего третьего письма* к вам я посвящу рассказу о тех рейдах, довольно короткому, ибо будь я настоящим писакой, а не молодым графоманом, по выражению Феде, я написал бы про это целый роман, ничего не высасывая из пальца, не притусевывая и не привирая, наподобие К. Симонова, вроде бы пишущего про войну, а на самом деле вылизывающего генеральские задницы нынешних армейских заправил и политработников.

Надеюсь, вы не забыли Фединога ответа парторгу на его хамское "давай-давай"? Тот, старый парторг (сейчас он министр) тоже этого не забыл. Он промолчал тогда, но не сомневаюсь, что успел высмотреть волк местечко на Федином горле, куда он вонзит, непременно вонзит, желтые клычины (зубы) и рванет ими, раздерет ими живую плоть, чтобы хлынула наземь кровь Фединой жизни. Месяца три прошло, казалось, все забыто, Федя работал себе, станки новые конструировал, рыбачили мы частенько, отводя в разговорах с глазу на глаз душу и пытаюсь разобраться в происходившем вокруг сталинском блядстве. На одном только нашем заводе из-за тупости начальства, лишенного гнусной структурой советской экономики всякой инициативы, горели, буквально горели денежные костры и в них плавилось золото, добытое рабочим потом и кровью. И не было у нас, очевидцев, радевших за народное добро, никакой возможности исправить положение и критиковать очковтирательские обязательства политгорлопанов, на которых они строили себе карьеру, лезли и перли из цехов в райкомы, обкомы, не желая считаться с реальным положением дел, реальными возможностями снабженья и людским здоровьем. Горлодеры стояли над нашими спинами, что само по себе унизительно для рабочего человека, долдонили (крикливо надоедали) давай! давай! И конечно, прекрасно, можете мне поверить, понимали, что именно при такой антинародной бездарной советской системе хозяйствования они смогут жить как рыбы в воде, сыто и долго, до самой старости, до пенсии, успех как следует пристроить в дипломатические, внешторговые, партийные и прочие придурочные ведомства своих уже развращенных сытостью и отцовской сановностью детишек. А там - душа из нас вон, пропади мы все пропадом вместе с марксизмом-ленинизмом, на который им всем было насрать в глубине души, пускай после них хоть тыща водородных бомб падают на эту непонятную страну и непонятный народ, покорно впряженный в оглобли пятилеток, железно сменяющих друг друга и не дающих натруженным битюгам и кобылам ни дня передышки... Давай! Давай! Давай! Кроме этого мерзкого словечка, дорогие, есть слово еще похитрей и погнусней: даешь! Даешь пятилетку в четыре года! Даешь Днепрогэс! Даешь новый грузовик! Даешь тысячу тонн угля сверхплана! Даешь Родине молоко и мясо! Слово это употреблялось, когда политруки затыкали свои глотки и переставали орать "давай!". "Даешь!" означало, что это якобы мы сами без подзадориванья и понуканья сознательно реагируем на призывы партии и Сталина и сами же как бы говорим себе "давай, давай!". Этим идиотским, порой весело звучащим "даешь!" мы подгоняли себя, как плетью, на почти невыносимых подъемах, авралах и всяческих трудовых вахтах. И вот что странно, дорогие: казавшееся иногда непосильным, превышающим наши физические возможности дело вдруг каким-то чудесным образом делалось, свершалось, и мы, лошади намыленные и взмокшие, изумленно переглядывались со своими погонщиками-политруками. Они с ходу мчались докладывать родному и любимому, мчались рапортовать, потом увешивали наши сбури очередными медяшками орденов и медалей, перепрягали и снова покрикивали "давай!" до тех пор, пока нам это не надоедало. Тогда, оглушенные трескливой демагогией, мы от злобы и трудового, рабочего азарта включали свое второе дыхание и перли, перли, пока

снова не вывозили телегу кровососных планов на новый перевал, откуда погонщики, жмурясь, разглядывали какие-то видные только им одним блестящие перспективы и "зримые черты коммунизма".

Федя, когда мы собирались бывало с заводскими дружками отметить какой-нибудь праздничек или спрыснуть чей-либо уход в отпуск, вел себя сдержанно, знал, что стукачей на каждом шагу больше, чем лобковых вшей у вокзальной бляди, и помалкивал себе, не вступая в разговорчики и не включаясь в острые споры. Но однажды и он сорвался, когда в Москву пожаловал Мао и Сталин обещал ему построить с братской помощью СССР новый социалистический Китай. Выпил Федя, вдруг затрясло его от бешенства, застучал он кулаками по столу, но тут же остыл и тихо, с огромной болью в сердце сказал (оказывается, дорогие, писатели выделяют разговоры людей специальными знаками; постараюсь вести себя так же, хотя писатель из меня, как из тебя, Джо, парторг завода Раков). Федя сказал:

- Он как был убийцей, так и остался. А мы все - самоубийцы. Посмотрите, что будет, когда, оторвав от себя, вбухаем в желтого брата сталь, хлеб, станки, технологию, нефть, танки, самолеты и "катюши". Хорошо, если на ветер пойдут наши кровные миллиарды. Это - ладно, хер с ними, с семнадцатого больше потеряли, крестьянам собственным своими руками геноцид устроили. Но вот когда китайцы с лихвой отплатят нам за "бескорыстную интернациональную помощь" вполне национальными атомными бомбами на наши головы, и даже еще раньше, когда они, встав с нашей помощью на ноги, обнаглеют по-имперски и приделают самой преступно-недальновидной в мире советской компартии глупые обвислые заячьи уши, вы тогда посмотрите, что будет. Год сорок первый покажется конфеткой, как ни грешно так говорить. Несчастные наши дети и внуки полягут в новом побоище, хорошо еще, если освобождая родную землю от "самого вероломного и жестокого во всей истории человечества врага". Примерно так будут выражаться политические руководители, ответственные за очередную национальную трагедию, устроенную их партией. Безумцы и преступники. Тупые динозавры. Динозавры, объяснил тогда Федя, ибо его уже прорвало, это совершенно вымершие доисторические животные. Однако каким-то странным образом они вновь вылупились из огромных яиц Маркса-Энгельса сначала в России, а потом в других странах. В нашей стране и в ее сателлитах они не вымирают благодаря великолепно налаженной закрытой от народа системе питания, медобслуживания, спецохраны и, конечно же, благодаря безграничной власти и судебному произволу.

До сих пор неизвестно нам, какая мразь стукнула на Федю. Вполне возможно, никто не стучал. Просто не могло быть так, чтобы после ряда откровенных замечаний в адрес заводских транжир и головоотяпов и того разговора с парторгом Раковым Федю не взяли. Взяли, сволочи. Причем взяли так, что никто этого не видел. Сгинул человек, словно сгорел в доменной печи и - точка. Где я только не искал его (Федя - бессемейный), куда только не писал, какие не обивал пороги - все бесполезно. Сгинул человек. Парторг даже вежливо намекнул мне однажды, чтобы успокоился я и не со-

вал свой нос (какой именно нос, он тогда не сказал, не то я свернул бы ему скулы) не в свои дела.

Месяц нет Феди, три, шесть, год нет Феди, полтора года, год восемь месяцев нет. Каждый мой день из всего этого времени был для меня, поверьте, я не преувеличиваю, днем глухой тоски, сердечной боли и душераздирающей ненависти к какой-то черной невидимой силе, махнувшей склизким крылом, и вот уже - нет человека. Я научился тогда узнавать по тоскливым лицам, по безнадежному выражению глаз людей, переживавших то же, что и я, и стыд сотрясал мою душу оттого, что я не замечал, не узнавал их раньше, занятый своей ударной работой, трудовыми рекордами, рыбалкой и водочкой. Я понял с абсолютной ясностью: если уж в нашем прокопченном, грязном, пьяном промышленном городе столько людей, разлученных со своими близкими, то во всей нашей стране, рвущейся не переводя дыхания под знаменем Ленина, под водительством Сталина к светлому будущему, их несметное множество. Хорошо еще, если пропавшие без вести, вроде Феди, и осужденные страшными тайными безликими судами выживали и давали о себе знать. Но каково жить годами без людского участия, с горчайшей мукой неведенья в сердце насчет судьбы близкого тебе человека? Представьте себе, дорогие, что в один прекрасный день ваш Джо пошел, например, развлечься на биржу или в публичный дом. Час ночи, два, три, на бирже уже никого нет, публичные дома тоже должны, на мой взгляд, сделать перерыв, а Джо все нет и нет. Вы обзвонили весь белый свет, у вас это просто, наняли гвардию сыщиков для поиска, повесили объявления в газетах об огромном вознаграждении, но все впустую, доллары ваши, хотя плевать на них в таких случаях, летят на ветер. Приятно вам было бы?

Думаю, что вам очень было бы неприятно и очень больно. Ведь если у вас всякие мерзавцы и ублюдки похищают богатых дядей, тетей и любовниц, то вы хоть выкупить их можете, если, разумеется, вам они милы и дороги. А нам как быть?

В общем, сваливается на меня однажды на втором году неведения и потери надежды, как снег на голову, весточка от Феди - письмо без конверта и марки, измызганный, измятый треугольничек.

С комком слез в горле я велю Вере сию минуту бежать за бутылкой. Пока она ходила, я сидел за столом и смотрел на письмо. В каких только карманах оно, наверное, не повалилось, через сколько добрых рук прошло, какой путь проделало, пока не попало в мой почтовый ящик. Оно лежало там между тошнотворной "Правдой" и журналом "Советские профсоюзы". И вот с комком в горле смотрю на него и, поскольку адрес написан был Феединой рукой, думаю, надеюсь, что все с ним в порядке, руки-ноги целы, честное сердце не разорвано, светлая голова по-прежнему на плечах. Боже мой, если бы вы знали, какое множество таких самодельных конвертиков отправил я Вере с фронта! Не меньше тысячи, если не больше. И вот выпили мы с ней по стопке за здоровье Феди и чтобы нам дожить до встречи друг с другом, и я, протирая ежесекундно глаза, разглядывал листки в клеточку.

Он ничего не писал о подробностях дела. Благодарил судьбу за то, что пережил следствие и не сошел с ума, хотя общее здо-

ровье пострадало не на шутку. Впрочем, шутил он, если бы сейчас на нарах оказалась теплая толстуха, то он не ударил бы лицом в грязь, силенки еще имеются, я в этом могу не сомневаться. Он там на общаке (общие работы). Мастер стройучастка. Со жратвой худо. Север. Цынга, так как отсутствуют лук и чеснок. Народ разный. Блатные, полицаи, бывшие в плену, власовцы, растратчики крупных сумм, шпионы, вредители, троцкисты, верные ленинцы, политруки, преданные лично Сталину, знаменитые артисты-педерасты (живут с мужчинами) и прочая шобла. Сидеть Феде осталось двадцать три года два месяца и семь дней. Главное, писал Федя, отбарабанить семь дней, а месяцы и годы - хуйня (чепуха) на постном (кукурузном) масле, вкус которого он уже позабыл. Федя много шутил в письме, конечно, для того, чтобы мне не было мучительно горько, и даже написал стихи: если в городе есть морг - будет в нем лежать парторг. Перечитал я письмо раз, радуясь тому, что жив, слава Богу, мой друг, перечитал второй раз, третий и десятый, пока не обиделся и не возмутился. Мерзавец! Негодяй! Скотина! - сказал я. Он ни о чем не просил, ни денег, ни посылку, ни лекарств, ни книг - ничего. Скотина! За кого он меня принимает, спросил я Веру, за говно собачье? Я ему покажу!

И я велел Вере незамедлительно готовить меня в командировку в северные края, в заводской поселок под Воркутой, где волок (отбывал) срок Федя. Моя жена имела от страха неосторожность заметить, что кажется, Федор дороже мне семьи, детей, жизни, работы и покоя. Я взглянул на нее так, что она онемела на целые сутки. Я любил и люблю, дорогие, жену, ребят, свой карусельный станок, рыбалку, грибную пору, футбол, рюмочку и иногда дамочек, бросающих вызов моей мужской чести. Все это я люблю и уважаю. Однако, сказал я Вере таким тихим голосом, что она буквально затрепетала, если бы не Федя, дважды спасший меня форменным образом жизнь, я не спал бы с ней, не зачал бы наших детей, не содержал бы семью и не продолжал бы уже много лет являться самим собой. Разве же непонятно, как потрясается и не может забыть потрясенная душа человека, спасенного другом, который сам рискует всей своей жизнью в миг, когда не задумываясь о последствиях, когда забыв о себе, он ради твоего спасенья бросается на почти верную смерть, плюя на ничтожно малое количество шансов выкарабкаться целым и невредимым из страшной заварушки. Разве, говорю, тебе непонятно это, старая безмозглая курица? Кстати, оба раза я умолял Федю бросить меня, идиота, к чертовой матери и уносить быстрее ноги, но он приставлял во гневе кулак к моей роже и командовал: цыц! (молчи). Я дважды должен жизнь своему другу, поэтому я его беззаветно люблю, чувствую вину и сладостный страх перед неопостижимостью человеческой души, способной, рискуя собственным существованием, вытащить из могилы другого.

Вы спросили у меня, дорогие, что это я так часто вспоминаю в своих письмах Бога, верую ли я, а если верую, то в какого именно Бога и с каких пор? Отвечу вам коротко и просто. Если я всей душой до конца моих дней благодарен другу за спасенную жизнь, то кого же мне благодарить вообще за появление на белом свете, за радость жить и за силу оставаться, несмотря ни на что, не самым худшим из людей, кого же мне, повторяю, благодарить как не

Бога? А насчет того, в какого именно Бога я верую, отвечу следующим образом: думаю - на небесах нету политбюро и чего-то вроде Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева, так что выбирать себе Бога, подобно тому, как многие люди выбирают себе занюханых кумиров и поклоняются им, слепые кутята, теряя человеческое достоинство и верный взгляд на свою природу, лично я не собирался и не собираюсь делать это в будущем.

Я всегда полагал, пораскинув мозгами и прислушавшись душой, что Отец у нас, что Бог, сотворивший всех нас заодно с цветами, рыбой и прочими живыми тварями - один. Один! И это - замечательно! Вот его я и люблю. Что касается Феде, сказал я тогда Вере, то на днях я вылетаю к нему. Беру отпуск. А Крым, говорит Вера, а Вовин бронхит? Меньше кутай дитя, курица, ответил я, тогда не будет бронхитов. Поедешь в Крым одна. Там найдешь себе на три недели какого-нибудь Изика или Юрика. Их там хватает. Я, конечно, шутил, но твердо велел собрать необходимое: сменку белья и рубашку, а для Феде мои теплые вещи, рукавицы собачьи, кашне, японские трофейные шерстяные кальсоны и дубленую душегрейку.

Затем что я делаю? Подаю заявление об уходе в отпуск. Желаю, написал, провести отдых на зимней рыбалке, а во-вторых устал, и разболелись фронтовые раны. Мне всегда шли в цехе навстречу, потому что я сам всегда старался так поступать с людьми в бытность свою предпрофкома и предместкома. Я был в цехе примерно такой фигурой, как ваш Джордж Мини, если, конечно, меня уменьшить в миллион раз. Заказываю билет. Изучаю на карте местность, где сидел Федя. Север, морозы, ужас. Затем сажусь на электричку и еду в Москву. Никогда не любил я Вериного брата Яшу, но ради такого случая решил поклониться. Яша - прохиндеище (полугангстер) и жулик в нашей торговой сети. Директор продуктового магазинчика. Но говорить об этом дерьме мне не хочется. Жулик есть жулик, хотя он оправдывает себя полной невозможностью работать честно в советской торговле, не наживаться на излишках, пересортице, продаже левых (ворованных на мясокомбинатах и т. д.) продуктов, спекуляции дефицитом и прочих махинациях. Я привез от Яши, которому в споре о советской власти чуть не начистил рожу, тушенки, топленого масла, витаминов, пару бутылок коньяка, корейки и еще кое-какой бациллы (в лагерях так называют жирные вкусные вещи). А спор у нас с Яшей, с этой рыжей наглой тварью, вышел из-за советской системы жизни. Яше она исключительно была по сердцу, я же утверждал, что она - говно, созданное специально для благоденствия жулья, спекулянтов, взяточников, генералов, партийных придурков, балерин, футболистов, шахматистов и лживых писателей. И что ничего нет легче, чем разворовывать так называемую соцсобственность, якобы принадлежащую народу. Я вам, дорогие, напишу как-нибудь о железной круговой поруке торговой сети нашего города с горкомом партии, милицией, прокуратурой и КГБ. На этом пока вынужден кончить, ибо один еврей летит на днях в Вену, я должен помочь ему собраться и отправить с ним эту часть письма. О том, как я съездил в Воркуту, в следующий раз. Поездочка эта была незабываемая.

ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

НАСМОРК СВОБОДЫ

* * *

Париж пуст. Словно город наклонили к югу, и он отхлынул, растекся цветными ручейками, сбежал вниз, пока не остановился на жалкой замусоренной средиземноморской кромке песка и воды.

Солнце раскалило крыши брошенных в узких улочках машин. Ставни глухо задраены. Магазины умерли. Уличные коты обнаглели.

Увядающая красотка вместе с еще не расцветшей дочкой, зевая в полубомороке, опускается на ослепительно белые стулья террасы и тут же подскакивает - ожог гостеприимства. У продавца сладостей стекла темных очков размыты потом, толпа буквально плывет мимо. Стада оккупировавших город туристов блеют на всех углах. Сену патрулируют забитые до отказа кораблики. Когда тень моста накрывает их на миг - раздается общий вздох облегчения. Дневные пташки на Клиши не теряют время на макияж - все течет, течет и краска.

* * *

Вечерами Париж уже не пылает костром, а тихо тлеет в лучах заката, косо бьющих с холмов Монмартра. Розовая Сакре-Кер, теряя вес, под рев гитар идет на взлет. Дешевые украшения ночи, расплавленные духотой, оплывают, теряя резкость. Вечный рубиновый крестик самолета застрял в непогасшем облаке, бессильный пробиться к океану. Первые опавшие листья на острове Сан Луи танцуют мышинные хороводы в ленивом ночном сквозняке. Восходит луна. И она оплыла огарком. Ни отношения людей, ни приметы мира не могут уплотниться нынче до трезвой конкретности. В Ле-Аль хозяева крошечной лавочки укладывают спать приехавших издалека друзей прямо на пухлых подушках витрины. Дрожат юбки и рубашки на

Все права принадлежат автору.

вешалках, китайская чашка вместе с блюдечком ползет к обрыву полки - в магазине свершается дорожная любовь.

Днем я видел голых дам в меховом магазине на улице Лафайет. Их шубы унесли, их меха спрятали от прожорливых маленьких бабочек. Они стояли, растопырив цветущие пальцы, их груди и ноги лишь до половины были вызолочены краской - экономия соблазна.

* * *

В три утра на Конкорд, отлепившись от потных джинсов, я пронырнул насквозь ледяную чашу фонтана. Незнакомая особь неизвестного пола на всех языках сразу приветствовала мое появление на другом берегу. - Ты сумасшедший, - сказала оно. Толстая самокрутка марихуаны напомнила мне трубу Диззи Гилеспи.

Дома в лунной луже на полу валялась исчерканная рукопись. Духота давила потной грудью. Вода в ванной училась считать до тысячи.

* * *

Моя память спутана. Волосы после любви. Шнурки перед побегом. Ночная глыба прошлого исверлена огоньками сигарет. События давних дней почтовыми марками наклеены как попало. Инспекция проводится второпях. Так в перевернутой после обыска квартире ищут спички, чтобы заварить чай.

Покидая страну, прощаясь с жизнью, протискиваясь сквозь inferнальный ноль таможни, ничего не возьмешь с собой - ни писем, ни фотографии, на которой сидишь в раззеванном счастье, глядя мимо объектива на чьи-то летящие волосы. Мать-мачеха выпускает тебя погулять голым. Слово родина впервые звучит угрозой.

Давно ли, в цветущих горах, обрывающихся над сморщенной кожей моря, ты говорил себе: стану ли разменивать золото памяти на кислую медь воспоминаний? Предутренний ветерок вскипает между разинутых в зевоте окон, страницы трепыхаются на полу. Куда вам! Бескрылые! Лишь долдонит свой урок плохо завернутый кран, да где-то играют на флейте. "Так же просто, как лгать. Переберите пальцами".

Старая записная книжка, не отобранная лейтенантом в аэропорту - вот мое прошлое. Я смотрю на тайнопись телефонных цифр, на строенные инициалы. Кто-то участливо шепчет в ухо: первое, что ударит тебя, ошеломит - это цвет, иная интенсивность цвета; второе - запахи...

Сквознячки свободны. Мелкие юркие бесы. Я схватил от этого насморк. Мои глаза слезятся. Я раздираю их в липком сне. - Почему-чему-му ты уехал? - бубнит кто-то, и я слышу, как по пустой улице медленно лязгает гусеницами помоечный танк. Охают переворачиваемые баки. С закрытыми глазами я вижу, как лиловый малый в старых перчатках на пенящейся молодом солнцем розовой улице разглядывает вытащенные из глотки машины драные джинсы. Секунду он думает и откладывает их в сторону. Казнь не состоялась.

- У меня клаустрофобия, - отвечаю я. - Достаточно и того, что мы заперты во времени, время влито в пространство и все это размешано кривой ложкой судьбы.

- Значит, у тех, других, - подначивает сходящий на нет голос, - у них что: агарофобия?

Какое мне дело? какое мне, право, дело? у них полны закрома, шкатулка Кремля до самой звездочки набита такой мрачной чепухой, таким застарелым бредом, что если бы я мог проснуться хоть на мгновение, то тотчас всех наградил орденом имени Андре Бретона, медалью Сальвадора Дали и каждому в зубы бы дал по путевке в санаторий имени Иеронима Босха.

* * *

Пробовали ли вы когда-нибудь, прилипнув к окну самолета, разглядеть внизу в равнодушном мелькании какой-нибудь намек на государственную границу? Красную каемочку, полосатую змейку, столб, наконец, или камень со словами: "Налево пойдешь..." Три почтенных дамы из Лиона, сидевшие рядом, испуганно отказались от водки, а лилась она в тот день как вода. Где-то над Балтикой литровая бутылка была наполовину пуста. Серые беспаспортные облака, туристские, тягучие, как чуингам, разговорчики, на кошачьих лапках спящая с косо приколотой улыбкой стюардесса и, как взрыв солнца внизу, на исходе терпения, на последнем глотке - колючий мех виноградника - Франция. "Я молю как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости..." Мы ушли из-под туч, мы, обжигаясь, загасили сигареты и удушились ремнями, мы спрятали пустую бутылку "Сибирской" в кенгуриный карман кресла, мы были трезвы вдребезги, земля пожимала плечами - то правым, то левым, армейская катушка связи на спине размотала последние метры невидимого кабеля, прошлое (оно началось сегодня утром) натянулось как струна.

Хлынули, потекли навстречу коридоры Орли. Каждый крошечный киоск в упор расстреливал радугой. Надписи из-за своей флюоресцентности не прочитывались. Я не мог найти выхода. Усатый офицер изучал мою фотографию в паспорте. К удивлению, он нашел, что мы схожи. Мне-то казалось, что четыре часа в брже ТУ состарили и омолодили, вывернули наизнанку и подвесили вверх ногами. Но ничего; ангелы, усевшись на электрическое табло рейсов, насвистывали Бахиану Вилла-Лобос. Экий снобизм! Черные планшетки с названиями столиц мелькали. Мир из плоского, покоящегося на партийной черепахе и полицейских слонах, становился круглым. Толпа бурлила, и было непонятно, каким образом в этом водовороте нужно сделать первый шаг, как поставить ногу, куда деть локоть, чем дышать и как умудриться погасить идиотскую угрюмую улыбочку, плотно залепившую лицо.

* * *

Время маленьких кофейных чашек, время ветра, лижущегося, как щенок, время вялых от усталости секретов. - Знаете ли вы, - обратился я к парижанам, струящимся мимо моего столика, - что вы двигаетесь по-иному? Ваша обычная дневная, вечерняя, замаянная или свежая пластика движений так же отличается от нашей, как пальто, сшитое фабрикой им. Вождя города Угрюмска от обычного пиджачка, купленного в захудалом Монтрой? Тоталитаризм - веселая штука, некий двигательный паралич прежде всего, ощущение ра-

мок, тяжести ограничителей. Самоцензура. Глядите: вот они переваливаются в синем свете вечерней кинохроники по коврам зала приемов, а вот и мы - такие же тюлени - дружно ковыляем через Красную площадь в полиомиэлите верноподданничества. Попробуй разреши рукам делать, что им хочется, они такого натворят! А ногам, скажем, идти туда, куда тянет - ай-ай! как бы из этого чего худого не вышло. И пульсирует скорченная внутренняя схема, звенят звоночки, кипит в крови адреналин, и мы расходимся по домам, советские куклы, походкой, от которой сходят с ума психиатры. Не здесь ли загадка нашего родного спорта, гипертрофированных мышц, преодоления самоторможения по разрешению сверху?

Позднее, в побежавших наперегонки денечках, в мутном бульоне подземных станций, я за сто шагов мог определить собрата по счастливому прошлому, движущегося по платформе с изяществом вытасченного на поверхность краба. Думаете, я не пробовал ходить так, как та вечно-весенняя студентка на углу улицы Суфло и Бульмиша? Я тут же чувствовал себя подкуренной блядью, терял можже-чок, облакачивался на мирных старух, наступал на хвосты их собак или врезался в тележки с мороженым. О нет, видимо мне это не суждено - шуршание парусов, свободный ток воздуха возле висков; не суждено забыть про углы локтей и колен, освободиться от зрячей спины и десяти пальцев, вцепившихся в шею. О вечный глаз с пластмассовой слезой, глядящий из прошлого.

Я весь обмирал от зависти, сидя на скамейке в Люксембургском саду, глядя, как не идут, а струятся мимо белые и черные, волосатые и лысые, курчавые и бородатые, молодые и кряхтящие. Они текли, их несло ветром, а если они спотыкались, значит в воздухе образовалось сгущение, небольшой тромб из скопившихся поцелуев.

Самый последний клошар, икающий так, что голову его подбрасывало, полз по отвесной, ошпаренной до волдырей августовским солнцем улице Монмартра с такой уродливой грацией, что мне хотелось пустить вокруг него лебединый выводок балеринок, а сверху в прыжке повесить улыбающегося взмокшего барышника...

* * *

Высокооктановый бензин, пряности из пиццерий, пузырьки и сквознячки духоб - вот кокаин переселенца. Волны запахов обвиняют тебя со всех сторон, и прежде чем ухо начинает впитывать музыку чужой речи, прежде чем глаз свыкнется с новой скоростью новых красок, нос уже пьянствует отдельно ото всех, грозит аллергией, систематизирует и разлагает, и где-нибудь в подвальнойке Шатле выдает: четвертый год после войны, угол цветного бульвара и Самотеки, бабка, торгующая свежими теплыми ирисками - все тот же запах жженого сахара, свежей карамели. Ах чертово, разбобленое вдребезги детство, трупы ограбленных дугласов в стрешневском лесу, осколки воспоминаний, прочно засевшие под кожей дней...

И в том-то и фокус, что начиная жить с нуля, начинаешь новое взрослое детство, где запахи, краски, жесты и гримасы пытаются лечь сверху на затвердевший и уже не белый пласт, рождая иногда чудовищные, иногда трогательные аппликации. Взрослый ре-

бенок, наивный старик, ты живешь тем же, чем и в пять лет - первоэмоциями.

* * *

Это город, где жить нельзя, если ты несчастлив.

Нет, если тебе плохо, а набережные все же золотят душу, а закат льется мирно и успокаивающе сквозь обглоданные временем и взглядами кости Нотр-Дам, значит все еще не так плохо, значит ожог в душе не так страшен и скоро безобразные, но спасительные струпы опадут, обнажив порозовевшую, но спасшуюся ткань существования.

Но если тошнит пеплом и пропала надежда, что случайный ветер, нежданное чудо или точно адресованная помощь освободят от этого серого, тлеющего, уже равнодушного к боли ожога, тогда здесь жить невмочь. Тогда нужно бежать, завернувшись в плащ, спрятав голову под мышку, молотя промокшими сапогами по мостовым. В любом направлении - лишь бы прочь! Этот город - огромный усилитель, он только напрягает, доводит до предела чувства. И Париж разворачивает их в симфонию, выкручивает ручки громкости до крайнего хруста. Как вопит тогда его хваленая красота, как вонзается в душу иглы соборов, как мерзок шелест падающих листьев платанов, как нескончаем, ни с чем на свете не сравним этот зависший, закисший пронзительный дождичек, как мутна рыжая вода Сены, как безразлична нарочито счастливая толпа, бесконечно текущая мимо твоего остывшего кофе...

Мне попадались в те дни продивные бабки, завернутые в пластиковые мешки с изяществом, которому позавидовал бы Христо, одноногие попрошайки, псориазные красотки, изголодавшиеся по мордобой убийцы. Меня преследовали маленькие желтые плакатики всяческих обществ, желающих принять участие в самоубийстве. Мой слух был изрезан и кровоточил от рева полицейских и санитарных машин, а все перекрестки Монпарнасов, Сен-Жерменов, Распаев и авеню Обсерватуар переходили, сбивая палкой невидимые поганки, бесчисленные слепые и горбуны.

* * *

Есть на свете необъяснимые вещи. На второй день своей новой жизни, в маленькой улочке возле Пернети, когда я шел неизвестно куда, парочка долгоязычных немцев, замученных бесконечной ночью любви, ангельскими голосами на ломаном английском втолковала мне, что уже несколько веков они ничего не жрали. Мы разделили мои семь франков пополам. В дальнейшем, хотя в жизни я не выглядел респектабельно, все та же униформа века - потертые джинсы да борода - ко мне липли все неустанные сборщики уличной подати столицы Франции: от беременных девушек с запиской на груди до величественных проходимцев в одеянии из картонных ящиков, где внутри удобно пристроены: бутылка розового, камамбер и полбагета*.

Сначала я отвечал, что не понимаю по-французски - ничего! они знали английский, а на всякий случай предлагали испанский, немецкий, итальянский и какой-то племени Тьфу-тьфу. Когда же я рискнул послать в известное темное место очередного пропойцу на

* *Багет* - современное французское название батона.

родном русском языке, он ответил мне залпом русско-польских вокабул. Боже! они были полиглотами!

Еще совсем на днях, возвращаясь из редакции, куда я сосватал эти листки и где мне был обещан чек, гремя все той же музыкой мелочи в кармане, я был остановлен на Шанз-Элизе возле забегаловки Жорж Санд солиднейшим дядей в возрасте покойника. Одет он был дорого, с легким налетом потасканности. - Друг, - сказал он, пробуя сразу несколько языков, - ты, случаем, не еврей? - Я повис на ветках генеалогического древа, тщетно пытаюсь скрыться в листве. Мягкой, но тяжелой рукой он сволок меня вниз, обнял за плечи, а другой вытащил из кармана коробочку лекарства. Судя по розовому с белым, это был траксен. Надо отдать должное его красноречию. Цицерон, и тот выдал бы ему пару монет. Естественно, что прежде всего он объяснил, загадочно обрубая хвосты новорожденных фраз, что он не из породы местных попрошаек, что он - в беде. Грех, конечно, смеяться над человеком в беде. Но в некотором смысле весь наш шарик угодил в нее, всеми пятью материками. Он был из Ниццы, где теперь, на ночь глядя, его выискивали для расправы враги. То же самое, сообщил он, было и в Марселе. Даже в маленьком Касисе его могли подстергать бесчестие и смерть. Я что-то прошевелил про мафию. Глаза его увлажнились. - Даже в Москве, - прорычал он, - способны понять человека! - Но, - ответил я, проклиная свой явственный проигрыш, - больше пяти франков я тебе не дам. - Он убрал руку с моего плеча, он печально устался на сидящую в одном и том же кресле уже целый год Эмманюэль... - Десять! - твердо сказал он. И добавил: - Меня зовут Илья. Как это будет по-русски?

Что ж... кружка бельгийского пива мне явно не светила в тот вечер. Я выдал ему пять франков и заструился прочь, но все с той же мягкой печальностью он остановил меня. - Может, мы выпьем вместе? - На что? - спросил я, потрясаясь его размаху. - На пять франков? У меня остался только change... - Change?... - вдруг воспрянул он. - Change! - И вытащил из кармана сложенную в восемь раз конголезскую банкноту времен фанерных самолетов. Я сообщил ему, что банки закрыты и обменять его валюту нигде. Он не огорчился и, еще раз попросив верить, что он "в беде", как-то весь сразу исчез.

* * *

Очухался я ночью, на узкой, медленно ползущей на север улице. Словно я шел весь вечер с закрытыми глазами и вот теперь, миновав площадь с плачущим фонтаном, полузряче открыл глаза. Нокаут продолжался; наглое расплавленное стекло реклам затекало за шиворот; как автомат, я различал запахи: моча, бензин, подгорелое масло, духи. Кипела суббота. Попадались стайки мужчин, все больше арабы, но мои микрофоны фиксировали и немецкую речь, и одиночные французские вопросы. В провале ворот на боку лежал в инфаркте скончавшийся холодильник. Из окна индийского магазина равнодушно пялил зенки Шива. Неужели и вечность такая же безразличная? тупое бесконечное падение. Одно я знал точно: там никогда нельзя закрыть глаза.

Женщина в черных чулках на подвязках, с вываленными наружу арбузами груди, что-то спросила меня. Я вяло отвечал, все же где-то в глубине удивляясь ее маскараду, что не могу по-ихнему. Же сюи рюс, прокомментировал я себя то ли с издевкой, то ли с неиздохшей гордостью, проталкиваясь дальше в ночь, но она двинулась рядом, мимо таких же, как сама, полуголых, с некрепким запахом пота, мимо тех, кто говорил тише падающего листа. Ее груди прыгали, ее волосы летели отдельно от нас. - Эй, - говорила она возле церкви Святого Дениса, - пойдём так, у меня русских никогда не было...

* * *

В будние дни нет ничего лучше на свете пустого огромного и волшебного парка Сен-Клу. Толстый ковер ржавых листьев съедает последние звуки; небо сочится такой густой синевой, что не приходи Господь когда-нибудь провалиться в такие же глаза; взмокший фотограф и две модели в пелеринках, шляпках, перчатках, вуалетках, с зонтиками, сумочками, сигаретами в мундштуках, с чисто вымытым пуделем цвета сливочного мороженого, со скучающим ассистентом (фляжка скотча в руке) - все это танцует на маленькой, полной золотом поляне, с косыми дорогостоящими лучами позднего солнца, бьющего сквозь редкую листву. Город виден внизу, серое стадо крыш, пылающее румянцем стекла. На маленькой пушке телескопа сидит ворона и давит косяка. И кроме полицейского в воротах, полоумной старухи на пеньке, фотографа с друзьями - в парке ни души. Идеальное место для любви или убийства.

* * *

Чуть позднее закат жжет крыши неопасным своим огнем. В трепете бабьего лета по Сене возле моста Мари идет длинная баржа. Набережные, как арбузными семечками, усеяны гуляющими. Маленькая толпа окружила старуху-акварелистку. Привычными (в который раз?) движениями она наносит на мокрую бумагу Нотр-Дам, облака, воду. На барже стоит накрытый стол, и человек десять, в костюмах, при пиджаках и шляпах, сооружают закуску, поднимают стаканы с вином. Они пьют, поглядывая на берега, с которых виноградом свисают зеваки, назад - на поджегший и воду закат, на перламутр несильных волн. Пахнет гнилью, поздним теплом, западным ветром.

Париж, октябрь 1979

Дмитрий Савицкий родился в 1944 году в Москве. Работал грузчиком, кинемехаником, рабочим в театре "Современник", ночным экспедитором. Отслужил три года армии в Сибири. Учился в литературном институте. С 21 года работал как профессиональный журналист. Вел четвертую полосу в многоотиражной газете, работал на радио и, в последние перед отъездом годы, на ТВ для детей. Выпустил несколько мультипликационных фильмов. Писал для документального кино. Был членом Профкомитета писателей при Литфонде СССР. В самиздате известен по стихам и рассказам. В октябре 1979 года, находясь по частному приглашению на Западе, попросил политического убежища. Во Франции печатался в "Монд де ля Мюзик", с серией статей выступил в "Либерасьон". Французской критикой причислен к волне "нового журнализма". В издательстве Ж.К. Латес вышла первая книга по-французски "Раздвоенный человек".

ПИСЬМО ИЗ ДЖОРДЖИИ

Ноября 24-го дня, года 1979-го, Атланта, Джорджия.

...В подвале "Савой балрум" был бильярд, где клиенты играли в игру под названием "одна луза" за башли. Играть в одну лузу значит загнать все твои шары в лузу, которую ты выбрал, все остальные не для тебя. Если попадаешь в другую лузу, выставляешь шар на стол и пропускаешь очередь. Ребята там играли однажды вечером, когда потолок обвалился и все танцоры посыпались вниз. Это было в конце тридцатых годов. Все эти сутенеры и прихватчики посыпались из бильярдной, как крысы с тонущего корабля. Потолок вместе с танцующими обвалился, потому что "Савой султанс" играли в тот вечер...

Диззи Гиллеспи

...Как бессовестно и какой идиотизм говорить такие вещи. Неужели непонятно, что если бы пол обвалился, тысячи человек погибли бы и "Савой" бы закрылся навсегда. Как пол может обвалиться? Кто это сказал? Это абсолютная ложь, идиотизм, неправда. Танцевальный пол в "Савое" был так построен, что он никогда не обвалится. Там было полно балок, и в "Савое" было две тан-

цевальные площадки, нет - три. Пол был специально сконструирован для танцев. Когда пол идет через мост, он перестает идти в ногу, чтобы мост не обвалился. Пол в "Савое" не мог обвалиться. Это недобросовестно говорить такие вещи, что пол в "Савое" обвалился...

Чарли Бучанян - владелец
"Савой балрум" в конце 30-х годов

...Правда это или неправда, а мораль этой истории такова - не играй в игру, когда тебе нужно загнать все твои шары в одну лузу, потому что никогда не знаешь, когда потолок обвалится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...

Диззи Гиллеспи

Из книги: Ты би ор нот ту боп. Воспоминания Диззи Гиллеспи, написанные вместе с Ал Фрезером. Даблей Компани. Нью-Йорк, 1979 (из главы "Статтин эт те Савой").

Сорри, что долго не писал, то есть я писал, но предыдущие письма застревали в машинке так надолго, что становились непригодными для отправки через океан. Надеюсь, что с этим посланием не произойдет ничего подобного.

Чувак, так я до Европы и не добрался, Лажа, неизвестно когда доеду, приезжай лучше ты сюда. Теперь машина есть, можно в Новый Орлеан поехать, что недалеко.

Что касается Гиллеспи, то книжка полный атас. Проблема в том, что перевод не удался. Собственно, я и не пытался. Я не Московский. Юмор еще и в том, что на жаргоне - бол (шар) значит фак. То есть Диззи сообщает мораль - что мол, не играй в одну дырку etc.

Энивей, это я просто для кайфа. Вся книжка состоит из подобных историй. Собственно, я только что добрался до Минтонского джаз-клуба, с Паркером они еще не познакомились, но уже стали смекать вместе с Кенни Кларком о бопе, который еще не был Бопом.

В нашу провинцию заезжают гости иногда. Недели две назад был Мосёл и Валик. Володя для него переводит, а Валик объезжает американские университеты за очень неплохие башли. Один день Джейн Фонда, другой Валик, очень по-американски. Работает на самом деле Московский. Так как Валик несет всякую хуйню со сцены, а Володя переводит. Он действительно гений перевода, я был на лекции в местном университете, перед тем как забрать их домой. Мосёл переводил все точно, но слегка менял тон, оттенок etc. Так что местами полный бред звучал более менее ничего. Валик на самом деле милейший человек, правда несет ахинею. Но это когда за Россию. Когда за что-нибудь другое, то все о.к. Мы с Мослом решили, к трем часам ночи, и после джина, водки, виски и пары ко-

сяков с моей стороны, что как ни крути, а будущее нашей родины ужасно... Энивей, Валик обещал помочь с организацией джазовой радиостанции в Москве, когда они придут к власти. На самом деле он ничего, стал рыться в пластинках, попросил поставить Паркера, лет, говорит, десять не слышал.

Я тут прочел, кстати, очень неслабую книгу - "Показания". Воспоминания Д. Шостаковича. Это, кстати, тот самый хуй с женой-фотографом, который брал у тебя интервью в лофте, вывез на Запад. Он, оказывается, музыковед. Музыковед он, может быть, ничего, так как предисловие к Шостаковичу написано им, и неплохо. Правда, быть хорошим музыковедом не мешает ему быть полнейшим мудаком, во всяком случае у меня осталось такое мнение от их визита. Энивей, я не большой поклонник музыки Шостаковича, но книга замечательная. Это как бы недостающая глава к "Архипелагу". Амфир во время чумы, так сказать, глазами человека искусства. К тому же с черным юмором.

Он там пишет, что ненавидит гуманистов, больше всего на свете, говорит, боюсь гуманистов, и несет всю эту контору, которая приезжала в Союз в 30-е годы: Роллана, Фейхтвангера, Робсона. Мне, говорит, никогда ни один гуманист не помог, у них никогда не хватает времени, чтобы кому-нибудь помочь. Лучше помочь кому-нибудь одному, чем всем.

Он там описывает следующую историю: Сталин позвонил на московское радио и спросил, есть ли у них пластинка концерта для фортепьяно с оркестром Моцарта, опус 23, в исполнении Юдиной. Что, мол, он слышал вчера по радио и хотел бы получить пластинку. Естественно, ему обещали, что утром у него будет пластинка. Как оказалось, пластинки не существовало, а концерт транслировался по радио из студии. Ну и естественно, всю ночь записывали моцартовский концерт с Юдиной. Пришлось сменить двух дирижеров, так как у них сдали нервы. Утром была готова пластинка в одном экземпляре. Шостакович называет эту пластинку - пластинкой пластинок. Позже Юдина получила концерт с двадцатью тысячами рублей от Сталина. Юдина была религиозна до фанатичности, и она послала Сталину следующее письмо: "Уважаемый Иосиф Виссарионович. Деньги я передала в церковь, и я молюсь за вас днем и ночью, и за ваши преступления перед народом. Господь милостив..." На арест Юдиной был выписан ордер, но Сталин ее не тронул. Ходили слухи, что это была единственная пластинка на патефоне в той комнате, где он откинул коньки или его замочили, как утверждают некоторые.

Еще он пишет, что столь популярная "блокадная" Ленинградская симфония была написана до войны и задумана как памятник сталинским жертвам и к блокаде не имеет прямого отношения. Собственно, пишет Шостакович, вся моя музыка это памятник жертвам террора, в музыке это легче сделать, чем в литературе или в живописи.

Энивей, вернемся к гостям. Гостил Карлинский с Донной. Сначала он позвонил мне из другого места. Мол, так и так, ты мне не друг, если не достанешь курнуть. Что, мол, объехал все Штаты и, мол, везде голяк. Я, правда, имею несколько другие сведения о положении в других штатах, но не суть. В об-

щем, А. его кинул в Нью-Йорке, так что на меня вся надежда. Приезжает Карлинский - и естественно, на голяк. То есть я суетнулся, но кого-то не застал, кто-то не пришел, в общем, как всегда. Приезжает Карлинский с Донной и давай меня омуживать по черному. Омудил до того, что мы отправились в паб по соседству, где я кое-кого знаю. Официант, мой приятель, обещал подсуетиться и попросил прийти к 9 часам; по запарке я забыл ему башли оставить, мы, естественно, опоздали, так как Карл вознамерился слушать твою пленку, записанную в лофте. В общем, когда мы там возникли, дилер уже свалил. Карлинский в панике. Тут я натыкаюсь на сумасшедшую Элен, работающую в магазине органической еды за углом, разная вегетарианская дребедень, остатки 60-х годов. Сумасшедшая Элен быстро разобралась в ситуации и предложила съездить в место под названием "Стопинг кап". Я не стал вдаваться в подробности, что такое стопинг кап, так как сзади наступал на пятки Карл. Сели в машину и поехали. Заехали в самый центр черного района, кругом какие-то кусты и развалины, мотор не выключай, советует сумасшедшая Элен. И вдруг из кустов посыпались дилеры, отталкивая друг друга локтями, ты им в окно башли, они тебе туда же траву. На пять баксов пакетик на пять или чуть больше косяков. Качество не очень плохое, лучше чем в Централ Парк в Нью-Йорке. Собственно, они никогда не фуфлят, просто в Нью-Йорке они сворачивают такие тонкие джойнтс, что там больше бумаги, чем травы, в Атланте же тебе выдают саму траву, сворачивай, мол, сам. То есть я имею в виду уличную куплю-продажу. Карлинский совершенно ошизел от такого сервиса и стал петь хвалебные гимны Североамериканским Соединенным Штатам.

Я собирался на Рождество в Нью-Йорк, но теперь, видимо, не получится, так как мы дом купили. Переехали неделю назад, новый адрес на конверте.

История такая. Мы не собирались покупать никакой дом. Жена сняла хату, довольно неплохую, когда я был в Нортхемптоне. Буквально в первые же дни я познакомился с Полом, моим приятелем близким, который работал в доме, в котором мы сняли хату. Дом принадлежит одной шкуре, с которой Пол жил. Чувиха лет 40 с сыном-оболтусом и довольно смазливой внешностью. С понтом занимается реставрацией. То есть скупает у негритянских старушек дома за бесценок, приводит их в порядок и продает или сдает втрисорога, в общем - капиталистическая акула. Старушки раньше мирно покачивались в креслах-качалках на верандах своих домов, держа в руках портрет Мартина Лютера Кинга (уроженца Атланты) и слушая Бесси Смит, теперь же все в соплях и слезах переезжают в гетто. Здесь есть несколько таких районов, которые были кайфовыми в начале века, потом пришли в совершеннейший упадок и лет 10 назад опять стали становиться приличными. Есть действительно красивые дома, колониал и викториан стайл. В общем, я подружился с Полом, и пока я оглядывался по сторонам в поисках какого-нибудь занятия, он мне предложил с ним работать. Он свой в доску. Хотя совершенно неорганизованная личность, вернее, организованная, но не так, вернее, так, но не туда. Руки золотые, как говорится, в совершенстве владеет тайнами строительного мастерства, в Англии восстанавливал замки 15-го века. Сидел на героине

почти 7 лет. Сидел в колонии за ограбление магазина в Кембридже, откуда он родом, в колонии его и обучили разным профессиям. В общем, такой альянс Макаренко, Диккенса и Берроуза. Стали мы работать вместе, и буквально через месяц он соскочил от шкуры, с которой жил и которая владелица дома, в котором мы жили. Он для нее работал, но она его несколько раз кидала с башлями, и вообще она, так сказать, из другого "социального" круга. С диким понтом и снобизмом. Она поначалу пыталась затащить нас в их игры. Разные партии и комитеты в том районе, где мы раньше жили, они там все задвинуты насчет реставрации, и естественно, ни о какой реставрации никто ничего не подозревает, к тому же самому старому дому чуть больше 100 лет. Я всю эту бригаду называл "Ресторейшен кемп" от концентрейшен кемп. Ну и действительно похоже, сидят в своих домиках и полируют какую-нибудь блямбу бронзовую по три года.

Энивей, Пол от шкуры соскочил к Элиз, которая очень мила и была у вас в Париже. Шкура дико завелась, так как, видимо, имела на Пола далеко идущие виды. Она скупает дома, он их ремонтирует, ну а плата так сказать в виде социал партии и пизды. В общем, в результате она обратила всю свою энергию на нас, решив выселить нас из хаты, которую мы у нее снимали, придравшись к тому, что Чукча (собака) линяет и портит ей только что отреставрированный пол, почти что Петродворец. Чукча действительно не подарок (хотя она гораздо лучше стала и спокойнее), но в этой истории бедное животное совершенно не при чем, так как Чукча 24 часа была на улице, гоняя местных собак и белок. Так что своего рода персональная вендетта. К тому же Пол практически жил у нас, и мы все время проводили вместе. В общем, решила, козлиная тварь, через нас Полу отомстить. Мы стали искать другую квартиру и в результате купили дом...

Но невозможно купить дом и незамедлительно в него переехать, так как вся бумажная волокита занимает пару месяцев. Пока мы крутились, от шкуры приходит письмо, что, мол, если мы через неделю не переедем, она подает в суд о принудительном выселении. Мы ей послали вежливое письмо, что, мол, так мол и так, купили дом, как только все оформим, в сей же миг переедем. Мы вообще старались вести себя по принципу, что говно не воняет, пока не трогашь, так что очень с ней вежливо себя вели, хотя она действительно тварь. В общем, приходит письмо от ее адвоката, что они против нас дело начинают. Так что дело, так сказать, принципа. По иронии судьбы, мы с Полом начали красить дом ее адвокату, неподалеку, так что таким образом она башляет адвокату, чтобы он начал дело о выселении, адвокат башляет мне, видимо ее башлями, так что она башляет почти что мне. Энивей. Мы тоже обратились к адвокату, нашему приятелю, который сказал, что в любом случае у нас есть месяц, пока машина закрутится. В общем, так все тянется, баба распускает о нас разные слухи по соседству, что нас мало колышет, так как мы из Нью-Йорка и не в ресторейшен бизнес. Как только она появляется (в доме еще три квартиры и масса проблем; так как он, видимо, не отреставрирован до конца, то нет горячей воды, то крыша течет), я немедленно завожу на полную громкость что-нибудь из Арчи Шепа, ну и так далее. В общем, жи-

вем, оформляем ксивы, ждем суда о выселении. Таким образом наступила осень, и чувиха решила переделать крышу в доме, где мы жили, так как она в паре мест протекала. Тут и начинается фан. Чувачки разобрали крышу, и надо же так случиться, что именно над нашей квартирой в первую очередь, и слиняли в неизвестном направлении. Незамедлительно начался тропический ливень небывалой силы. Просыпаемся мы утром, и потолок набухает прямо на глазах, так как крыши натурально нет... Хлещет отовсюду, только успеваем вещи передвигать. Звоню чувихе, хотя до этого все отношения состояли в переписке адвокатов. Она примчалась через минуту, нагруженная какими-то тряпками и пластиком. В общем, цирк, старина, с дрессированными собаками, чувиха воет, собака лает, вода хлещет. Дизастер, одним словом.

Только к ночи они справились с наводнением, к тому времени и дождь прекратился. Серьезные убытки были, в основном, в мой огород, так как одна из стаянь рухнула под напором воды и, миновав проигрыватель, магнитофон, каким-то чудом отбила две ручки от усилителя, так что громче-тише теперь приходится спичкой регулировать, но возможно починить. Но все было залито, на самом деле, все было, правда, пластиком накрыто, и шкура ползала на карачках, вытирая воду, что доставило мне некоторый сатисфакшен. В общем, в суд она на нас не подает, так как мы автоматом подадим на нее за ущерб. Так что мы переехали спокойной неделю назад. Надеюсь, что я ее никогда больше в жизни не увижу.

Я вообще здесь более заводным стал, чем в Нью-Йорке, может оттого, что каменщиком работал три месяца. Мы с Полом возвели каменный забор, невероятной красоты, с воротами из кипариса.

К примеру, пару дней назад поехали мы в ресторан. Мы оказались без кухни на день Благодарения, самый крутой американский праздник, как в России Новый год. Индюшка и все такое прочее. Все берляют и готовят, и веселятся. Но мы тут ремонт затеяли крутой, так что за два дня до Тфенксгивен от кухни остались одни стены. Нашли мы кабак, в котором обещали все блага урожая, о чем и праздник. Поехали туда, я запарковал машину напротив на два часа, заплатив 4 бакса, через три минуты оказалось, что кабак закрыт, вернее открыт, но жратвы нет, так как была футбольная команда за час до нас и все сберляла, в общем возвращаемся мы обратно, и я клиенту на паркинг говорю, что мол лажа, кабак закрыт, что если он мне вернет три бакса, я ему буду очень признателен, нет, говорит, ни хуя не верну, мы вернулись через пять минут, а запарковались на два часа, так что требовал я свои башли назад вполне, можно сказать, законно. Дело, естественно, не в башлях, так как 4 бакса не деньги. Но сука стала выябываться и вести себя дико нагло, в общем откровенная наебаловка, тем более что он взял башли вперед, что они не имеют права делать, видимо педераст знал, что в кабаке уже хоть шаром покати. В общем, до того он меня разозлил, что я ему врезал между глаз. Сели мы в машину, выезжаем с паркинга, я смотрю, что клиент уже поднялся и тащит ружье из багажника, хотел я его задним ходом придавить к его же собственной машине, так как от него было всего метра три, да жена не дала.

Так что мы нашли другой ресторан на крыше самого высокого здания в Атланте, 75-й этаж. И ресторан крутится, так что обзриваешь Атланту с птичьего полета, там нам дали индюшку и всячески ухаживали, подавая вино и фрукты. Так что праздник не был совсем испорчен.

Но Юг вообще покруче, чем либеральный Восток. Тут действительно Америка. Только неделю назад в Атланте предложили новый закон, что прежде чем купить пистолет, нужно ждать 60 дней, пока менты проверят твою анкету. До этого 200 лет можно было покупать на любом углу. За 49.99 выдают "Смит энд Вессон" с обоймой в бумажном кульке в любом так называемом Пан шоп, которых бесчисленное количество. М-16 с оптическим прицелом 250 баксов. Израильский "Узи" 400 с чем-то. Есть даже армейская база, но говорят, что со снарядами туго. Я приторчал на Люгере "Парабеллум" с удлиненным стволом. Тут теперь вообще протестуют против нового закона, но в принципе закон распространится только на Атланту, в самом штате никаких таких законов нет. В Атланте, между тем, самое большое количество преступлений в Америке, особенно летом. Милый городок. В основном среди черных или на почве драгс или фемели релейтед. В общем, Фолкнер. Карлинскому пришла в голову идея всем выдать бесплатно по армейской базе, так что когда большевики придут, народ уйдет в леса...

Но у него, правда, работа такая, связанная с линией фронта. Паб, про который я писал ранее, который находился в трех милях от нашего бывшего дома и в пяти на машине от нового, ништяк место, местное сохо. Художнички, наркомы, шкуры etc. Пол мне рассказывал, что пару лет назад до того, как новые владельцы все переделали и сделали "модное" место, это был просто бар, который находился по дороге из самой крутой тюрьмы в Атланте, в которой когда-то сидел Аль Капоне, по дороге в город, ее закрыли не так давно. Пол мне рассказывал, что в нынешний паб завалились как-то два клиента, только что, видимо, из зоны. Раньше они там отоваривались алкоголем, покупали оружие и брали шкур. В общем, заваливаются два клиента и совершенно не понимают, что происходит, кругом какие-то хиппи, картины абстрактные на стенах, правда, со шкурами ничего не изменилось. Напротив другой бар, называется "Пиллар", это своего рода Ворксмен паб с биллиардом. Над стойкой две амбразуры, и когда в баре замес, хозяин исчезает на минуту и появляется в амбразуре с обрезом и просит виновников замеса немедленно удалиться. Вообще Атланта неплохой город.

Я никогда не видел такого количества красивых баб, как в Атланте. Московский придерживается такого же мнения. В общем, столица американского Юга. Персиковый штат. Действительно, в том доме, который мы купили, на заднем дворе растет персиковое дерево. "Ешь ананасы, рябчиков жуй..." Гимн штата, естественно - Джорджа ин май майнд...

Из Атланты Дюк Пирсон и Марион Браун, Рей Чарльз из Джорджии. Ну естественно, и президент Картер, есть даже Джимми Картер бульвар.

Народ здесь покруче тоже. Американцы дикие националисты. Я никогда не слышал, и вообще трудно себе представить американца, который бы ненавидел Америку, несут, конечно, со страшной силой,

к тому же либералов развелось невидимое количество, но как только какой-нибудь замес, все готовы за Штаты биться до последнего патрона.

Ты бы видел, что тут делается в связи с этой историей в Иране и американскими заложниками. Перекалечили всех иранских студентов, народ уже добровольцами готов записываться. Требуют немедленно все там к ебене матери разрушить. Не просто пиздят, а действительно заведены.²² Мой приятель Джерри-сицилиан, поэт-дадаист, дико кайфовая личность, был во Вьетнаме пару лет и рассказывает об этом совершенно спокойно, в Нью-Йорке же я насмотрелся и наслушался либералов, которые только пиздели о Вьетнаме, а сами дальше Лонг-Айленда никогда не были.

Другой мой приятель Рой, бывший морской пехотинец. Тоже очень крутая личность. Джерри как-то сидел у меня и читал Нью-Йорк Таймс, который мы здесь получаем, он там вычитал что-то про Китай. А мы говорит, однажды замочили китайского адвайзера, он был 2 метра росту. Джерри, говорю я, вы же шпокнули единственного китайского баскетболиста. Нет, говорит, китайцы попадались очень высокие, это вьетнамцы все маленькие...

Расисты здесь тоже крутые, я как-то видел газетку нелегальную Ку-клукс-клан. Мда... Покруче, чем газета "Водный транспорт".

Соседка-старушка, вдова полковника-генерала, кричит черному парню, подстригающему кусты у нее в саду: "Эй, ниггер, кам хиа..." Это там, где мы раньше жили. Я тоже на негров заведен, то есть персонально на одного, сука Майкл, рабочий, который работает в нашем доме, я его угостил кое-чем, пока мы ждали его, так сказать, прораба, с которым у нас контракт, так он, видимо, пиздюк, заметил, где у меня коробка, сегодня я туда сунулся, половины нет... В понедельник буду права качать. Он на самом деле симпатичный парень. 21 год, жена, ребенок, так что пашет.

В общем, купили мы дом. Дом ничего, с садом небольшим и четырьмя каминами, правда все камины на одном дымоходе, получается, что в каждой комнате по камину. Дом на самом деле очень большой, но уютный. Так что мы взяли еще ссуду, чтобы его отремонтировать, делаем второй этаж из чердака, новую кухню и ванну, новую крышу, будет как новый дом. Но не ресторейшен, а именно ремонт. Дом не такой старый, лет 50, и район клевый, называется Грант парк.

Должны закончить весь ремонт в январе. Тоже смешная история, так как ссуда, которую мы получили на ремонт, первая ссуда такого рода в стране, я до сих пор не понимаю, почему, но какие-то бюрократические тонкости. Так что об этом доме пишут в газетах и приезжают какие-то люди фотографировать, как было и как будет потом. Надо сказать, что пока кайфолом. Грязища и пылища. Но в основном всю грязную работу они уже закончили.

Я же стал искать работу по арт части. Пока работаю с Полом и езжу на интервью. Гораздо легче, чем когда я приехал, так что сейчас есть что показать.

В Нью-Йорке я вряд ли бы пошел работать в офис с 9 до 5, а здесь ничего. К тому же, видимо, придется вторую машину поку-

²²Сейчас, правда, все изменилось (И. Я.).

пать, без машины здесь никуда, даже сигарет не купить. Я хотя права и получил уже давно, но до сих пор езжу не совсем легально, так как до сих пор не купил страховку, нужно баксов 400, так что езжу по всем правилам, чтобы не вязанули.

Машина большой кайф. Stereo играет. Здесь несколько очень неплохих джазовых станций. Чукча ужасно любит в машине ездить, готова с утра до вечера.

Летом мы решили поехать в отпуск, у нее было две недели, я с Полом договорился, что соскочу на две недели. Решили поехать на Американ Вирджин Айлендс. Острова Девичества в Карибском море. Пальмы, песочек: о море в Гаграх, одним словом...

Только мы собрались, договорились с Полом, что он присмотрит за Чукчей, билеты купили, как на Карибское море обрушился ураган небывалой силы, по имени "Дейвид", самый сильный в столетии, который трахнул эти острова-целки и разрушил их до основания. В Нью-Йорк Таймс была фотография большого четырехмоторного самолета, заброшенного ветром на крышу пятиэтажного дома, вид самолета вверх ногами в неестественном положении меня слегка смутил, так что мы решили изменить планы, забыть на время про острова Девичества и отправиться на берег Атлантического океана в Джорджию, где, по слухам, пустынно, пляжи etc. В общем, сели в тачку и поехали. Проехали полдороги, и выяснилось, что ураган "Дейвид", разрушив все парадайзы в Карибском море, неожиданно повернул и теперь мчится в сторону Флориды, собственно уже достиг Флориды, и там вовсю эвакуация. Ураган движется со скоростью 40 миль в час, скорость ветра 150 миль в час, и по прогнозам, должен достичь побережья Джорджии и того места, куда мы собираемся, примерно тогда же, когда мы туда попадем. С ураганами еще одна проблема, невозможно предугадать, куда они повернут в следующий момент. Мы остановились в каком-то кафе по дороге и стали обсуждать, что делать дальше. Ситуация, как в романе, пьесе и одноименном кинофильме "Иду на грозу". В общем, достали карту и стали ее изучать. Решили даже поехать в Майами, так как ураган уже Майами миновал, а оттуда самолетом опять на Вирджин Айлендс, но выяснилось, что в Карибском море организовался новый ураган "Фредерик", который в 150 милях от этих самых островов и движется прямо на них. В общем, выяснилось, что единственное место, не затронутое ураганом на побережье, это Мексиканский залив, вернее залив в заливе, Аппалачский залив, что примерно в пяти часах езды. Туда мы и намылились. Тогда же я впервые вел машину по хайвею и вообще вел почти все время. Так что накатал практику, почти 500 миль - 700 км. Вечером мы оказались на задворках Флориды, городок под названием Панама Сити Бич. Сняли коттедж прямо на пляже, погода прекрасная, рыбные рестораны на каждом углу. Бородатые Гемингузи предлагают половить рыбку в глубокой воде. На быстром катере к ебене матери... В общем, ништяк. Пробыли мы там неделю. Вернулись в Атланту, и на следующий день ураган "Фредерик" неожиданно повернул, помчался в Мексиканский залив и полностью разрушил то место, где мы отдыхали. Как я потом читал в газете, на пляж был вынесен крейсер, и никто не мог понять, откуда он взялся, так как никто о пропаже крейсера не

заявлял. Как потом выяснилось, пакетбот использовали как мишень во время стрельбищ, во время урагана он оторвался, промчался почти 200 миль, как летучий голландец, и оказался на пляже...

В общем, с ураганами все ясно, у нас возникло подозрение, что у нас с ураганами какие-то персональные отношения. Стихия, одним словом. Первый же ураган "Дейвид" домчался почти что до Канады, все ломая по пути, даже Нью-Йорк зацепил. Следом за ним новый организовался в Атлантическом океане, по имени "Анри", но тот для нас уже был не опасен, так как мы были уже в Атланте.

Раньше все ураганы носили женские имена, например, знаменитый ураган "Камилла", разрушивший Флориду лет 10 назад, когда погибло больше 200 человек. Но потом американские феменистки возмутились и потребовали называть ураганы мужскими именами, так что в Вашингтоне решили один год называть мужскими, другой женскими...

Права я сдал со второй попытки, первый раз пропустил "Стоп".

Мы с Полом хотели устроить концептуальное шоу, но так и не собрались, он купил громадный грузовик "Шевроле" 57-го года за 200 баксов, то есть грузовик, конечно, нуждается в ремонте, но он все равно на нем ездит нелегально, уже заплатил штрафов на 100 баксов. Энивей, во время гражданской войны Атланта была полностью разрушена и сожжена северянами, так называемый марш генерала Шермана к морю. Здесь была битва где-то в кукурузных окрестностях Атланты, а теперь существует Циклорама недалеко от нашего нового дома, которая называется "Битва за Атланту". Собственно, "Битва за Атланту" – это как литературная идиома, книги написаны, фильмы поставлены, балеты etc. Тут был большой шум в связи с тем, что американцы обнаружили на Кубе советский полк, опять заговорили о красной опасности, соколы подняли головы и т. д. Так что мы хотели из его трака, вернее на базе его трака, сделать большой советский танк из папье-маше, как на парадах. Со всеми делами, покрасить, в общем сделать как настоящий, на манер фигур Сигала, и поставить на центральной площади Атланты, с надписями на броне "Битва за Атланту" и "Даешь Атланту!". Внутри спикер с записанным звуком двигателя и переговорами типа "Зяблик, зяблик, ответь рябчику, прием..." А самим сидеть с усталым видом на броне в нечто похожем на закопченную танкистскую форму и берлять из банок трофейный супчик...

Я даже затеял несколько графических листов в соцреалистической манере под общим названием "Битва за Атланту". Типа "На привале", "Первая конная" etc, но в связи с переездом, естественно, не закончил.

Все мои картины пропали после знаменитой выставки в Нортхемптоне, еби ее мать. Уже прошло полгода, не могу получить ни картин, ни страховки.

Сначала ебанный Дейвид послал их в Нью-Йорк, хотя я ему тысячу раз говорил про Атланту и, естественно, оставил адрес. Потом он, вроде, получил их назад, после того как я устроил скандал, и по его словам, послал в Атланту, еще три месяца прошло, и ни одной картинки. То ли он мне врет, то ли черт знает что. В результате я попросил Билла этим заняться, так как он там в двух шагах, он обещал сделать, что возможно.

Я по этому поводу придумал другое шоу, если выяснится, что они действительно пропали: где-нибудь в большой галерее устроить выставку пропавших картин, дать несколько объявлений во все арт-журналы, Вилладж Войс и Нью-Йорк Таймс с призывом ко всем художникам, у которых когда-либо пропадали картины, объединиться и устроить выставку пустых рам с названием произведения и всеми ксивами от почтовых учреждений, страховками etc.

Юрий Армолинский – уехал из Ленинграда в 1975 году. Декоратор театра и кино, он работал и за Полярным кругом, и в Крыму. Фанатик джаза, один из организаторов Ленинградского джаз-клуба и многих джазовых сессий. Сейчас ему около тридцати лет, живет в Атланте, штат Джорджия, работает для театра и для разных издательств как художник.

**рекомендуем
нашим читателям**



Юрий Милославский

УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА

ч.1. СОБИРАЙТЕСЬ И ИДИТЕ

ч.2. ВЕРСТА КОЛОМЕНСКАЯ

Проза

Художник Марк Байер

Изд. "Москва-Иерусалим",
1980, стр.226.

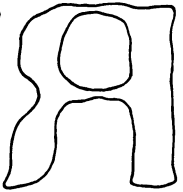
Заказы по адресу:

JURY MILOSLAVSKY
Neve-Jackov 108/14
Jerusalem, Israel

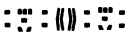


UNOFFICIAL
RUSSIAN
ART REVUE

paris
new york
moscow



(a-ja)



**первый журнал, посвященный исключительно
изобразительному искусству**

*Номер открывается статьей Б. Гройса
"Московский романтический концептуализм".
В разделе "Мастерская" помещен ряд статей
московских художников о своем творчестве,
а также статьи художественных критиков и
интервью.*

*Под рубрикой "Истоки авангарда"
впервые публикуются страницы из дневника
К. Малевича 1922 года "О субъективном и
объективном в искусстве".*

*"Галерея" журнала знакомит
с работами художников-эмигрантов, а также
художников, живущих в Союзе.*

Журнал выходит два раза в год и издается на трех
языках: русском, английском (параллельный текст)
и французском (специальный вкладыш), имеет мно-
жество цветных и черно-белых иллюстраций.

Подписка может быть осуществлена по следующим адресам:

для Франции: Igor Chelkovski
Chapelle de la Villedieu
78310 ELANCOURT
tél. 050.93.76

стоимость подписки - 70 французских франков
цена одного номера - 40 французских франков

для других стран: E. Mühlebach
P.O. Box 65
CH-1822 Chernex SUISSE

стоимость подписки - 35 швейцарских франков
цена одного номера - 20 швейцарских франков



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Андрей Платонович Платонов (1899 - 1951)

Составитель В.МАРАМЗИН

(Начало в № 4, 1979)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящее имя писателя *Андрей Платонович Климентов*, однако с первых публикаций 1918 года он пользуется в качестве фамилии своим отчеством - Платонов. Лишь в 40-е годы, после того как по всем его литературным псевдонимам уже были разгромные статьи, он воспользуется своим настоящим именем *А. Климентов* как еще одним защитным псевдонимом.

Знак (*) указывает публикации, которых составитель не видел.

1920

1. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 26,6 февраля 1920 г. Шаг к победе. [Статья. Сведения из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]*
2. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 17,26 марта 1920 г., стр. 4. Млеют в горячей весенней испарине... [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
3. там же, № 19, 28 марта 1920 г., стр. 2. Русь. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
4. там же, № 21, 31 марта 1920 г., Юноше-пролетарию. [Стих. Сведения из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]*
5. там же, № 29, 11 апреля 1920 г., стр. 4. Ленин (В связи с 50-летием со дня рождения). [Статья.]

От ред. В предыдущем номере досадная опечатка. Неверно указан год рождения А.П.Платонова. Следует читать: 1899.

6. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 34, 18 апреля 1920 г., стр. 3. Невысокие лозины... [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
7. там же, № 38, 23 апреля 1920 г., стр. 3. Знание. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
8. там же, № 39, 24 апреля 1920 г., стр. 2. Молот. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
9. там же, № 40, 25 апреля 1920 г., стр. 2. Тьма. [Заметка. Подпись: А. Пл.]
10. "Предмайский воскресник" (Однодневная газ. Воронеж) 26 апреля 1920 г. [Стих. См. примеч. к публикации в ж. "Железный путь" № 10, 1919. Сведения из "Рус. сов. проз."]
11. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 45, 1 мая 1920 г., стр. 1. Май. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. В ж. "Путь коммунизма" (Краснодар) № 1, 1922 под назв. "Майский субботник".]
12. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 95, 1 мая 1920 г., Преображение. [Очерк. Сведения из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]
13. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 47, 5 мая 1920 г., стр. 3. "Над голубыми озерами..." [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
14. там же, № 52, 10 мая 1920 г., стр. 2. Кузнецы. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
15. там же, № 55, 14 мая 1920 г., стр. 3. Солнце жжет арбузы, зеленил огурцы... [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
16. там же, № 67, 29 мая 1920 г., стр. 2. Приезд английских рабочих. [Статья.]
17. там же, № 68, 30 мая 1920 г., стр. 2. Праздник силы. (Ко дню всеобуча). [Стих.]
18. ж. "Советский строитель" (Воронеж) № 1, апрель-май 1920 г. стр. 77. "Октябрьский переворот и диктатура пролетариата". Сборн. статей. Москва, 1919. [Рецензия.] стр. 79-80. Инж. Л. Дрейер. "Задачи и развитие электротехники". Москва, Государ. Изд., 1919. [Рецензия. Подпись: А. Пл.] стр. 80. М. Рафимов. Система делопроизводства в государственных учреждениях. Изд. В.С.Н.Х. Москва. [Рецензия.]
19. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 70, 3 июня 1920 г., стр. 2. Последний враг. [Статья.]
20. там же, № 74, 8 июня 1920 г., стр. 2. Два мира. [Статья.]
21. там же, № 75, 9 июня 1920 г., стр. 3. Ремонт земли. [Статья.]
22. там же, № 77, 11 июня 1920 г., стр. 3. Христос и мы. [Статья.]
23. там же, № 81, 16 июня 1920 г., стр. 4. Красные вожди. [Статья.]
24. там же, № 84, 19 июня 1920 г., стр. 2. Новые братья. [Статья.]
25. там же, № 87, 23 июня 1920 г., стр. 2. Размозжим! [Статья.]
26. там же, № 89, 25 июня 1920 г., стр. 2. О науке. [Статья.]
27. там же, № 95, 2 июля 1920 г., стр. 3. Прямой путь. [Статья.]
28. там же, № 96, 3 июля 1920 г., стр. 2. Живая ехидна. [Статья.]
29. там же, № 97, 4 июля 1920 г., стр. 3. Путь в горы. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
30. там же, № 98, 6 июля 1920 г., стр. 2. Тридцать красных. [Статья.]

31. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 99, 7 июля 1920 г., стр. 2. Да святится имя твое. [Статья.]
32. там же, № 104, 13 июля 1920 г., стр. 1. Рабочее братство. [Передовая статья.]
33. там же, № 105, 14 июля 1920 г., стр. 1. Мир на красном штыке. [Передовая статья.]
34. там же, № 107, 16 июля 1920 г., стр. 2. Сила сил. [На при-
сланные в редакцию стихи. Ответы авторам. Подпись: А. П.]
35. там же, № 108, 17 июля 1920 г., стр. 2. Дорога утром. [Стих.
Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
36. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 158, 17 июля 1920 г.
Достоевский. ("Идиот". Театр Губвоенкома). [Рец. на спек-
такль. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]:
37. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 109, 18 июля 1920 г., стр.
2. Напор. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Красно-
дар, 1922.]
38. там же, № 112, 22 июля 1920 г., стр. 2. Луначарский. (В свя-
зи с 25-летием литературной работы). [Статья]
39. там же, № 113, 23 июля 1920 г., стр. 2. Помогай, крестьянин!
[Статья.]
40. там же, № 115, 25 июля 1920 г., стр. 1. Единая сила. [Пере-
дovая статья.]
41. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 165, 25 июля 1920 г.
Белые духом. (Вечер Игоря Северянина). [Статья. Свед. из
"Материалов" и "Рус. сов. проз."]:
42. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 116, 27 июля 1920 г., стр.
1. Восстание Востока. [Передовая статья.]
43. там же, № 117, 28 июля 1920 г., стр. 1. Два удара на удар.
[Передовая статья.]
44. там же, № 118, 29 июля 1920 г., стр. 2. Наша почта. [Ответ
авторам. Подпись: А. П.]
45. там же, № 119, 30 июля 1920 г., стр. 2. Воспитание коммуни-
стов. [Статья.]
46. там же, № 121, 1 августа 1920 г., стр. 1. Сила - не право.
[Передовая статья. Подпись: А. П.] стр. 2. Оратор. [Стих.]
47. там же, № 123, 4 августа 1920 г., стр. 2. Красный труд.
[Статья.]
48. там же, № 126, 7 августа 1920 г., стр. 1. Красный поток. [Пе-
редовая статья.]
49. там же, № 128, 10 августа 1920 г., стр. 2. Чульдик и Епишка.
[Рассказ. Впервые в книге "Етифанские шлэзы", М. 1927.]
50. там же, 13 августа 1920 г. Конец. [Свед. из "Рус. сов. проз.",
раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи"].]:
51. там же, 14 августа 1920 г. Вечная жизнь. [Свед. из "Рус.
сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи"].]:
52. там же, 15 августа 1920 г. Конный вихрь. Пролетарской кон-
нице. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар,
1922. Свед. из "Рус. сов. проз."]:
53. там же, 18 августа 1920 г. О религии. [Свед. из "Рус. сов.
проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи"].]:

54. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 19 августа 1920 г. Варшава. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922, под названием "Фронт". Свед. из "Рус. сов. проз."]:
55. там же, 22 августа 1920 г. Ответ редакции "Трудовой армии" по поводу моего рассказа "Чульдик и Епишка". [Сведения из "Рус. сов. проз.". Сведений о рец. газ. "Трудовая армия" (Воронеж) на рассказ Платонова найти не удалось.]:
56. там же, 27 августа 1920 г. Мать. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Рус. сов. проз."]:
57. там же, 1 сентября 1920 г. Удар по Врангелю. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
58. там же, 3 сентября 1920 г. В чем свобода. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
59. там же, 4 сентября 1920 г. [Ответ авторам.] [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз."]:
60. там же, 8 сентября 1920 г. Красная весна. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
61. там же, 9 сентября 1920 г. Кулак с Востока. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
62. там же, 15 сентября 1920 г. Мальчик. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Рус. сов. проз."] Политика Англии. [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
63. там же, 18 сентября 1920 г. Апатитыч. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
64. там же, № 163, 23 сентября 1920 г., стр. 2. Газета и ее значение. [Статья. Подпись: А. П.]
65. там же, 25 сентября 1920 г. О нашей религии. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
66. там же, 30 сентября 1920 г. Беспартийность. [Свед. из "Сов. рус. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
67. там же, № 170, 2 октября 1920 г., стр. 2. Домой. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
68. там же, № 171, 3 октября 1920 г., стр. 2-3. Борьба мозгов. [Статья.]
69. там же, № 172, 6 октября 1920 г., стр. 2. Хлеб - победа. [Статья. В подписи ошибка: А. Платонов.]
70. там же, № 173, 7 октября 1920 г., стр. 2. Две победы. [Статья.]
71. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 224, 7 октября 1920 г., стр. 2. Мысль. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
72. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 174, 8 октября 1920 г., стр. 2. Белый бес. [Статья. Подпись: А. П.] стр. 2-3. Волчек. [Рассказ.]
73. там же, № 175, 9 октября 1920 г., стр. 2. У последней схватки. [Статья. Подпись: А. П.]
74. там же, № 177, 12 октября 1920 г., стр. 2. Задние планы. [Статья.]
75. там же, № 178, 13 октября 1920 г., стр. 4. Что такое электрификация. [Статья. Подпись: А. П.]
76. там же, № 180, 15 октября 1920 г., стр. 2-3. Обучение управлению. [Статья.]

77. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 233, 17 октября 1920 г., стр. 2 и № 235, 20 октября 1920 г., стр. 2-3. Культура пролетариата. [Статья.]
78. там же, № 243, 29 октября 1920 г., стр. 3. Волю. [Рассказ. Под рубрикой "Маленькие рассказы".]
79. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 31 октября 1920 г. Хлеб и машина. [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]::
80. там же, № 194, 2 ноября 1920 г., стр. 4. Почему мы, городские рабочие - коммунисты. [Статья. Подпись: Рабочий А. Платонов.]
81. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 249, 5 ноября 1920 г., стр. 2. Странник. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
82. там же, № 251, 7 ноября 1920 г., стр. 1. Герои труда. Кузнец, слесарь и литейщик. [Очерк. Подпись: А. П.] стр. 1. Государство - это мы. [Статья. Подпись: П.] стр. 5. Поход. [Стих.]
83. там же, № 252, 9 ноября 1920 г., стр. 1. Будущий октябрь. (Дискуссионная). [Статья.]
84. там же, № 253, 10 ноября 1920 г., стр. 2. Сын земли. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
85. там же, № 255, 12 ноября 1920 г. Вечер Комсомола. [Подпись: П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".] Мастер-коммунист. [Статья. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]::
86. "Красному фронту" (Однодневная газ., вып. Воронежским губкомсомюзом) 15 ноября 1920 г. Богомольцы. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Сов. рус. проз."]::
87. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 206, 16 ноября 1920 г., стр. 3. Поп. [Рассказ. Впервые в кн. "Епифанские шлози", М. 1927.]
88. там же, № 207, 17 ноября 1920 г. В бездну. [Статья без подписи. Сведения об авторстве Платонова из статьи: Н. Задонский. Молодой Платонов, в ж. "Подъем" (Воронеж) № 2, 1966, стр. 145-146. Задонский ссылается на схожесть стилистики статьи со стилистикой молодого Платонова. По этому признаку следует отнести к платоновским еще ряд статей без подписи в газ. "Красная деревня" в конце 1920 г. - В. М.]::
89. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 261, 19 ноября 1920 г., стр. 2. Слепой. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
90. там же, № 268, 27 ноября 1920 г., стр. 1. В мастерских. 1. Электропоезд. 2. Бог. [Очерки. Под рубрикой: "Там, где огонь и железо". Подпись: П.]
91. там же, № 269, 28 ноября 1920 г. Ф. Энгельс и К. Маркс. [Статья.] Динамо-машина. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.] [Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]::

92. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 28 ноября 1920 г. Чтобы не пропадала картошка. [*Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".*]:
93. там же, № 218, 30 ноября 1920 г., стр. 2. Мы пройдем тебя до края... [*Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.*]
94. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 272, 2 декабря 1920 г., стр. 3. Много матерей. [*Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.*]
95. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 5 декабря 1920 г. Электрификация нашего края. [*Подпись: П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".*]:
96. Коммунистический воскресник детям. Однодневная газетка, выпущенная Ворон. Комсоюзом. (Воронеж) 6 декабря 1920 г., стр. 3. Странники. [*Рассказ.*] Дети. [*Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.*]
97. газ. "Красная деревня" № 226, 9 декабря 1920 г., стр. 2. Анархисты и коммунисты. [*Статья.*]
98. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 278, 9 декабря 1920 г., стр. 1. Выключенные дни. [*Статья. Подпись: Рабочий А. Платонов.*]
99. там же, № 281, 12 декабря 1920 г. К чествованию героев труда. [*Статья. Подпись: Рабочий А. П. Свед. из "Материалов".*]:
100. там же, № 285, 17 декабря 1920 г., стр. 3. Знамена грядущего. [*Статья.*]
101. там же, № 287, 19 декабря 1920 г. Наука о взаимной равноценности труда. [*Статья. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."*]:
102. там же, № 288, 21 декабря 1920 г., стр. 2. Клуб-школа. [*Статья.*]
103. там же, № 289, 22 декабря 1920 г., стр. 2. Перерождение производства. [*Статья.*]
104. там же, № 293, 26 декабря 1920 г. Творческая газета. [*Статья. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."*]:
105. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 240, 26 декабря 1920 г., стр. 4. Как добыть свет. [*Статья. Подпись: А. П.*]
106. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 295, 29 декабря 1920 г., стр. 1. Нормализованный работник. (Дискуссионная). [*Статья.*]

1921

1. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 1 января 1921 г. Когда земля была не наша: Белогорлик. - Живая хата. [*Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".*]:
2. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) 1 января 1921 г. Падают звезды с неба на траву... [*Стих. Впервые в книге: "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Рус. сов. проз."*]:
3. там же, 7 января 1921 г. Р.К.П. и электрификация. [*Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".*]:

4. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) 12 января 1921 г. у начала царства сознания. [Статья. Сведения из статьи: Л. Шубин. Андрей Платонов, ж. "Вопросы литературы" № 6, 1967, стр. 33 и 43, а также из "Рус. сов. проз.", где указано: "Воронежская коммуна", 1921, 12, 18 января. См. ниже - возможно, продолжение имеет отдельное название. - В. М.]
5. там же, 14 января 1921 г. Звери. [Стих. Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз."]
6. еженед. "Призыв" (Воронеж) № 3 (11), 15 января 1921 г., стр. 6. Конец бога. [Статья.]
7. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 10, 15 января 1921 г., стр. 1. Последний шаг. Памяти Карла Либкнехта. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922, без подзаголовка.] Оживающее сердце. [Статья. Подпись: П.] Ответ рабочему Горину. [На присланную в редакцию статью "Природные и искусственные силы и их будущее". Подпись: А. П.]
8. там же, № 12, 18 января 1921 г. Слышные шаги. (Революция и математика). [Статья. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]
9. там же, № 13, 19 января 1921 г. Истина сделанная из лжи. [Статья. Свед. из "Рус. сов. проз." и "Материалов", в последнем под названием: "Наука и искусство. (Истина, сделанная из лжи)". Вероятно, первое - название рубрики. - В. М.]
10. там же, № 14, 21 января 1921 г. Живописная газета. [Статья. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз." Подпись: П.] Мертвая петля. [Статья. Свед. из "Материалов".]
11. газ. "Красная деревня" (Воронеж) 21 января 1921 г. Старые люди. Иван Митрич. [Рассказ. Впервые в кн. "Епифанские шлюзы", М. 1927, под названием: Иван Митрич. Свед. из "Рус. сов. проз."]
12. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 15, 22 января 1921 г., стр. 2. Гапон и рабочие. [Статья. Подпись: А. П.]
13. там же, № 19, 28 января 1921 г. Ненаучная наука. [Статья. Подпись: А. П.] Маня с Усмани. [Стих. Впервые в книге: "Голубая глубина", Краснодар, 1922.] [Сведения из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]
14. газ. "Красная деревня" (Воронеж) № 21, 30 января 1921 г., стр. 2-3. Ерик. [Рассказ. Подпись: П. См. ж. "Континент" № 10 (1976), стр. 339, пред. В. М.]
15. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 32, 13 февраля 1921 г. стр. 1. Золотой век, сделанный из электричества. [Статья. Подпись: А. П.] стр. 2. Судьба. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
16. там же, 18 февраля 1921 г. Всеработземлес. [Подпись: А. П. Сведения из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи", там тоже без de visu]
17. там же, № 38, 22 февраля 1921 г. Машинист рабочего класса. [Статья. Свед. из "Материалов".]
18. там же, № 43, 27 февраля 1921 г. На корабле. [Стих. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]
19. там же, № 45, 2 марта 1921 г. Происхождение труда. (Тезисы статьи.) [Свед. из "Материалов".]

20. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 47, 4 марта 1921 г. Над мертвой бездной. [Статья. Подпись: А. Пл. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]:
21. там же, 5 марта 1921 г. Важное постановление. [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи", там тоже без de visu]:
22. газ. "Трудовой клич" (Воронеж) 9 марта 1921 г. Великое равно малому, а малое - ничему. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
23. там же, 10 марта 1921 г. Вопрос о тяге на жел. дороге. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."] Топот. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Рус. сов. проз."]:
24. там же, 27 марта 1921 г. Огромный человек. [Подпись: П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
25. ж. "Кузница" № 7, декабрь [1920] - март 1921, стр. 18-22. Маркун. [Рассказ. Впервые в кн. "Потомки солнца", М. 1974]
26. газ. "Трудовой клич" (Воронеж) 7 апреля 1921 г. Два изображения. [Подпись: П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
27. там же, 17 апреля 1921 г. Черный спаситель. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
28. там же, № 37, 22 апреля 1921 г., стр. 2. Институт вместо курсов. [Статья. Подпись: А. П.]
29. там же, № 38, 23 апреля 1921 г., стр. 2. Дайте квалифицированных мастеровых. [Статья. Подпись: А. Пл.]
30. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 93, 1 мая 1921 г. Вселенной. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]:
31. там же, № 51, 12 мая 1921 г., стр. 2-3. Электрификация деревень. [Статья.] стр. 2. Они бьются - мы строим. [Статья без подписи. Сведения об авторстве из "Рус. сов. проз.", основания для установления авторства не указаны. Стилистически действительно похоже на Платонова - В. М.]
32. газ. "Трудовой клич" (Воронеж) 14 мая 1921 г. Международные организации пролетариата. [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи."]:
33. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 111, 24 мая 1921 г., стр. 4. Невиданный балаган. [Под рубрикой "Письма читателей". Коллективное письмо о 1-м вечере воронежских имажинистов. Подписи: А. Платонов, А. Киров, Федор Михайлов, И. Бережний, Б. Бобылев.]
34. там же, 4 июня 1921 г. [Ответ автору]. [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз."]:
35. там же, № 124, 8 июня 1921 г., стр. 4. В Воронежских ж.-д. мастерских. [Статья. Подпись: П.]
36. там же, № 140, 29 июня 1921 г., стр. 1. Познаны нами тайны вселенной... [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
37. газ. "Огни" (Воронеж) № 1 (18), 4 июля 1921 г., стр. 1. Душа человека - неприличное животное. (Фельетон о стервецах).

- [Подпись: Тютень.] стр. 2. В звездной пустыне. [Рассказ.]
Лесная говорушка. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
38. газ. "Огни" (Воронеж) № 2 (19), 11 июля 1921 г., стр. 1. Революция "духа". [Статья.] стр. 2. К звездным товарищам. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
 39. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) 12 июля 1921 г. Воспитание коммунистов (1 детская школа - клуб Горнаробраза). [Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]:"
 40. там же, № 165, 27 июля 1921 г., стр. 2. Против зноя. [Статья.]
 41. там же, № 166, 28 июля 1921 г., стр. 2-3. Гидрофикация. (Система искусственного орошения полей посредством рек). [Статья.]
 42. там же, № 167, 29 июля 1921 г., стр. 2. Гидрофикация. (Окончание). [Статья.] Общее примечание. [К статье "Гидрофикация. Подпись: А. П.]
 43. ж. "Красный луч" (Задонск) № 1, июль 1921 г., стр. 2-3. Серега и я. [Рассказ. Свед. из книги: Николай Задонский. Донские вечера. Центрально-Черноземное кн. изд. Воронеж, 1967, стр. 138, а также из статьи Г. В. Антхакина "Рождение писателя" в книге: Филологические очерки. (По материалам Воронежского края). Изд. Воронежского университета, Воронеж, 1966. В "Рус. сов. проз." без de visu. Сведений о таком издании найти не удалось. - В. М.]:"
 44. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 172, 4 августа 1921 г., стр. 4. Энергия из ничего. (Ответ тов. А. С. на проект "Электрификация"). [Подпись: А. Пл.]
 45. там же, № 184, 18 августа 1921 г., стр. 1. Вечер Некрасова в коммун[истическом] университете. [Статья. Подпись: Курсант А. П.]
 46. там же, № 189, 25 августа 1921 г., стр. 2. Жизнь до конца. [Продолжение статьи "Гидрофикация", см. "Ворон. комму" № 166 и 167, 28 и 29 июля 1921 г.]
 47. ж. "Голодающим детям" (Воронеж), 26 августа 1921 г. Однодневное издание Воронежской Губ. Комиссии помощи голодающим детям Поволжья, стр. 4. Вечерние дороги. Песня. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922, без подзаголовка.]
 48. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) 28 августа 1921 г. Необходимо перестроить. [Подпись: П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи", там тоже без de visu.]:"
 49. там же, 30 августа 1921 г. Водой за хлеб. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]:"
 50. там же, № 198, 4 сентября 1921 г., стр. 3. Крестьянская коммунистическая революция. [Статья.]
 51. там же, № 204, 11 сентября 1921 г., стр. 2. Еще о гидрофикации. (Ответ А. С. А. и на безымянное письмо).
 52. там же, № 212, 21 сентября 1921 г. Вечер Кольцова в коммунистическом университете (или рассуждения не на тему) [Подпись: Курсант А. П.]

- В "Материалах" под названием: Вечер Кольцова в коммунистическом университете (или рассуждения не на тему). В "Рус. сов. проз.": Вечер Кольцова в коммунистическом университете (или рассуждения на тему). Других свед. не нашлось.]
53. "Наша газета" (Воронеж) 6 октября 1921 г. Электрический ток на службе у орошения. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 54. там же, 8 октября 1921 г. [Ответ читателю]. [Свед. из "Рус. сов. проз."]
 55. там же, 28 октября 1921 г. Слесарь Климентов - изобретатель. [С примеч. ред. Подпись: А. П. Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 56. там же, 6 ноября 1921 г. Электрификация мира. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 57. там же, 13 ноября 1921 г. Новое Евангелие. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 58. там же, 17 ноября 1921 г. Рабочий должен выступить в поле, чтобы умертвить свою смерть-голод. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 59. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) 18 ноября 1921 г. Фронт зноя. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 60. "Наша газета" (Воронеж) 20 ноября 1921 г. Великая работа. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 61. там же, 25 ноября 1921 г. Ревсовет земли. [Свед. из "Рус. сов. проз.", раздел "Рассказы, сказки, очерки, статьи".]
 62. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 273, 4 декабря 1921 г., стр. 2. Заметки. (1. В полях - 2. Бог человека). [Очерки.]
 63. "Наша газета" (Воронеж) № 57, 7 декабря 1921 г., стр. 1. Обороняйтесь - наступайте! [Статья.]
 64. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 283, 16 декабря 1921 г. Вниманию X губсъезда Советов. (К 4-му пункту повестки дня). [Свед. из "Материалов".]
 65. там же, № 285, 18 декабря 1921 г. Вечер мира. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."]
 66. там же, № 293, 28 декабря 1921 г. Государство и кустарно-промысловая кооперация. [Статья. Подпись: А. П. Свед. из "Материалов".]
 67. В книге: Стихи. Сб. стихов. Воронеж, Коммунистический союз журналистов, 1921. Дорога утром. [Стих. См. примеч. к публикации в газ. "Красная деревня" № 108, 17 июля 1920 г.] Белый свет. [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922 г.] Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села... [Стих. Впервые в кн. "Голубая глубина", Краснодар, 1922.] [Свед. из "Материалов" и "Рус. сов. проз."] Лесная говорушка. [Стих. См. примеч. к публикации в газ. "Огни" № 1, 4 июля 1921 г. Свед. из "Материалов".] *

в номере:

алексей лосев Валерик	3
иосиф бродский Меньше чем единица	6
алексей лосев Иосиф Бродский. Предисловие	23
станислав красовицкий Стихотворения	31
генрих шеф Шкаф. Рассказ	49
эдуард лимонов Из новых стихов	71
елена шапова Il canto	75
елена шварц Семейные предания	78
михаил берг Из книги "Записки на манжетах"	90
анатолий жигалов Из конкретной поэзии	99
юз алешковский Вот такая карусель... Начало нового романа	101
<u>ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА</u>	
дмитрий савицкий Насморк свободы	130
юрий ярмолинский Письмо из Джорджии	137
андрей платонович платонов (1899-1951) Библиографический указатель Составитель В.Марамзин	149

ЭХО ЕСНО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Публикации. Юмор. Более двух третей журнала - материалы литературного самиздата. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Единственный в эмиграции журнал, регулярно печатающий библиографические материалы.



ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции - 95 французских франков
(4 номера в год), с доставкой
Университеты и с целью поддержки - 120 фр. франков

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:

*A. Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél. 37.05.34*

В США и Канаде:

1. Издательство "Ардис", "RLT/Ardis Publishers",
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A.
tél. (313) 971.2367
2. Mr Edward McDermott, 320 E. 23 Street, New York,
N.Y. 10010, U.S.A. tél. (212) 982.2252
3. Вадим Бытенский, Mr Vadim Bytensky, 751 Steeles,
Avenue West, Unit. 53, Toronto, Canada
tél. (416) 225.48.47

В Англии:

Представительство изд-ва "Посев", "Possev-Verlag",
18 Downs Rd., Beckenham/Kent BR32JY, England

В Австралии и Новой Зеландии:

Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O.Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349.84.84

В Израиле:

Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах
Цена номера - 38 франков

EXO

ECHO

PARIS

1980